Елена Черникова

ВОЖДЕЛЕНИЕ БЕЗДНЫ

роман

...да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу,

Вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны,

Превосходнейшими произведениями гор древних, вожделенными дарами холмов вечных,

И вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее...

Второзаконие, 33:13—16

«Боже, — проговорил он год назад, забредя случайно в белую, с проталинами на штукатурке, церковь, похожую на весенний сугроб. — Помоги мне. Видишь, какое дело ...»

Бог молчал. И Николушка Чудотворец, и все святые держали глаза вкось.

«Надо чаще встречаться?..» — процедил он и, не оглядываясь, вышел на Ордынку.

Глава 1

Во всякой гордости чёрту много радости. Спесь дворянская, а ум крестьянский. Дурак спесивится ниже себя. На грош амуниции, а на рубль амбиции

Профессор протёр чистые стёкла и положил очки на кафедру. Лицо большого учёного то платонило, то макиавеллило. Лица семинаристов отвечали дерридово.

— Я, конечно, понимаю, что следы минувшей ночи отпечатались не только на вашем челе, уважаемый коллега, — профессор бесстрашно глянул в угол невооружёнными глазами, — но лекция состоится при любой погоде.

— О, вы читали! — блеснул умом угол аудитории. Остальные по-интеллигентски захихикали в стиле *ну вы же понимаете*, предвкушая стычку меж отцом и сыном.

— Наверное, вам следовало бы начать утро с пива, — жалостливо съязвил

профессор, обращаясь на голос чудовища.

— А я начал с... — Не договорив, школяр смежил веки. — Чтобы не оказаться в вашем, профессор, интересном положении... Когда при любой погоде должно состояться *что вам угодно*.

— Молодость!.. И нелогично, — вдруг смирился отец и поправил отсутствующий галстук.

— ...которая знает, когда именно может старость... — добормотал засыпающий сын.

— Логично, — крякнули довольные студенты.

Все знали, что ночью в храме сын читал Евангелие над пятиюродной тётушкой, чем возмутил отца-гуманиста в очередной раз, однако пикировка по времяпровождению молодёжи сегодня прошла прилюдно, что было уже не совсем прилично.

— Отвратительный тип! — говорил он, когда спрашивали о сыне. — Я бы ему такую... чашу!.. она бы его не миновала.

Понимая боль отца, окружающие спрашивали о сыне часто, расковыривая ему сердце, но и желая вкусить от аллюзивных ответов, а потом неожиданно переставали спрашивать. И тогда бедный отец задыхался в тишине от безразличия Вселенной, не признаваясь даже сердцу, что избалован вниманием общественности к его забубённому отпрыску.

Спроси по сути — хотел ты родить сочинителя и верующего? — он, конечно, вспомнит, как уговорил немолодую жену рожать, лелея что-то своё, потаённое, невербализуемое. Гуманисты часто верят в детей как в личное будущее.

По вожделенной сути, разумеется, никто его не спрашивал: профессор всё-таки светило и застёгнутый человек, а вундерсын всё-таки шалопай, очевидно. Пустомеля, возможно, и притвора. Пусть разбираются.

Сын хотел в армию и за горизонт. Он усердно эпатировал пятидесятилетнего профессора, который *точно знал*, что армию дедовщина кровавит, за горизонтом воображаемое мечется, и сумма несоразмерна человекоэкземплярности индивидуума. Короче, и там, и там нечего ему делать. Лучше бы перестал по храмам шастать, со старухами кланяться, ещё увидит кто. Впрочем, и так все видели. Чудовище, коих уже не делают, сами берутся. Воскресенье — в церковь; посты — соблюдает; литература — житийная. Наигрыш и болтовня — позлить, только позлить отца.

Отец укорял отпрыска за несовременность и ретроградство:

— У сверстников — п**о**сты, у тебя пост***ы***. Смешно.

Сын отвечал:

— Папаня. Ты помнишь разницу между господами и рабами? Ты *видишь* разницу между господами и рабами?

— Один может, другой хочет, — насторожился отец.

— А почему?

— Иерархия. Что тебе?

— Проясню. Господин — знает цену, настоящую цену, сам назначает цену, сам проверяет отчёт и сам может заплатить настоящую цену за то, что стоит этой цены...

— Многословно.

— А если сократить?

— Основы философии — это ещё не философия. Каша сияющая, quasi-интеллектуальная. Господин ставит свою жизнь! Бросается Божьим, как ты выражаешься , даром. Очень модно. «Делайте ставки, господа! У кого с собой жизнь?» Ты видишь достойный товар, чтобы так платить?

— Да, — уверенно сказал сын, опять собираясь к вечерней службе. — Жить надо так, чтобы было за что умирать. А когда не за что отдать жизнь — это не жизнь.

— Я — пас, — меланхолично обронил отец. — Quasi una fantasia*.

* Почти фантазия (*лат.*).

— Как всегда; поговорили; цитатник ходячий.

— Нам говорить не показано, — согласился отец. — И всё-таки скажу: зря ты надеешься набегать себе вечность; в институции, куда ты собрался, всё сложно. Так сложно, что мракобесие — мягко сказано.

Профессору не хотелось видеть сына в природном круговороте героев, ставящих на кон жизнь. Он давно решил: взлёт героизма есть результат разгильдяйства. Кто спасёт младенца из огня, если дом не загорится? А дом не загорится, если все соблюдут пожарную безопасность. Герой — отмазка для лентяев: толпа с удовольствием поклонится одному, но жить нормально всем — значит быть обществом.

А общество — уже не толпа, не масса, договариваться надо, да-с, и, следовательно, уметь говорить, формулировать, а речь в упадке, она всё дефицитнее. Ему известно доподлинно, поскольку профессор Кутузов преподаёт практическую словесность. Что такое жить *нормально*? Экзерсис для фантазии, а прилюдно профессор не фантазировал — он не политик, не писатель, он учитель высшей школы, высшей

пробы, носитель тайны: поставщик уловок текстопорождения.

Разумеется, не хотелось и *гибели* сына: жена расстроится, похороны, а кошмары бальзамирования! и место на кладбище, поминки, девятый день, сороковины! Профессора ужасно раздражали эти троекратные поминки. У нас ведь не помянешь три раза — не то что православные бабульки-соседки, — учёные коллеги с кашей съедят, прямо на пыльной кафедре. Профессор вздрагивал при мысли, что надо трижды вынимать и прятать посуду.

Он ненавидел обряды за их интеллектуальную мелкотравчатость. Любая конфессиональность должна знать своё место на книжной полке или в ином специально отведённом месте. Извините, наступил двадцать первый век, а центральная антиномия (созданы или произошли?) и в двадцатом страшно утомила профессора своей надуманностью. Кошки скребли по сердцу, пока мотивировал жанрообразование и не мог не говорить, чем отличаются и предмет, и способ зрения здравомыслящего сочинителя от неверной и туманной, будто задымлённой, оптики верующего. Воля к произведению, практикум авторствования, — всё различно. Честный профессор ежегодно описывал студентам пропасть меж ними, корчась от мучительного отвращения .

Пока малыш подрастал, всё было ещё мило, но после школы, странно укрепившей несовременные интенции ребёнка, профессор изволил-таки отправить его на экзамены в военное училище. Сам улетел в отпуск, умиляясь собственной храбрости: бросить в пекло — и улететь! Сын идёт на штурм военного поприща! Хотел героизма? Просим. Провалишься на вступительных и пойдёшь в духовную семинарию. Ха-ха-ха.

Но ребёнок не дошёл до военной комиссии, а свернул и поступил на филфак. Дома он гордо отчитывался перед матерью о прекрасных экзаменах в училище, а потом вернулся отец и, полистав бумаги в родном деканате, обнаружил правду.

Браниться было поздно: конкурс на бесплатное место, самостоятельно выдержанный ребёнком, абсолютно некстати, но оправдывал его, ребёнкино, существование. С лотерейным конкурсом дети даже не пробуются в автономии, но — взял да и поступил. Дескать, поучи меня, папаня, ещё немного, всего пять лет. Я — твой пост, со всеми моими постами.

— Самое трудное — описывать любовь и смерть. Начните утро, коллеги, с эссе о любви. Лучшие мы напечатаем в студенческой газете.

— Я уже, — проснулся сын. — Вам понравится. Практически ваши мысли. Самая соль.

— Прекрасно. Давайте.

— У вас в портфеле, во внешнем кармане, — пробормотал сын, засыпая.

Аудитория привычно замерла, но профессор послушно вынул мятую бумагу и начал читать с листа.

— Профессору Кутузову от студента Кутузова, — сказал он громко.

Про любовь

...Когда мне подарили её, мне стало светлее, как среди миров, где не надо света, и я спал с ней в мерцании светил. Одной звезды...

Из обрезков, украденных в парикмахерской, склеил я паричок и надевал на неё каждый день, причёсывая по каталогу. Потом перекрасил, и ей стало как-то не очень, и я выбросил парик. Повторяя имя...

Я обнимал её, гладил, шептал на ушко, любил сердцем и пытался напоить молоком.

Жаль, она не ела. Я б и мясца дал. Я ещё не знал жизни, мал был, но всё, что входило в моё бытие, сразу передаривалось ей. Любовь моя была новой, чистой, первой, честной. Все восторги первозданного рая переполняли мою грудь, и по ночам я плакал от счастья, будто с Богом поговорил.

Весна каждый день.

Когда моя любовь позволяла мне взять её за руку, я терял сознание. Не дыша, я легонько сжимал её точёный локоток, будто боялся потерять её доверие, но она была великодушна и никогда не убирала руки, не поднимала меня на смех за мою дрожь и страсть, а я благодарил её самыми нежными словами, хотя знал их немного, но каждый день стремился узнать всё больше, чтобы нас ничто не могло испугать, отвлечь и чтобы мы были вместе вечно и без посторонних.

Однажды я уснул очень рано, не успев раздеть её, и в смертельном страхе проснулся среди ночи от какой-то новой, наждачно-живодёрной тоски...

Её не было рядом со мной.

Сердце моё остановилось. Я вскочил и тут же рухнул на кровать, как старое подрубленное дерево.

Говорят, это приходит внезапно, как смерть, но я ещё не знал, что такое смерть наяву. А это есть. Это неописуемо и страшно: безысходность, невозвратимость, одиночество.

— А ты потом не встречался с ней?

— Нянька выбросила её. Няньку тут же уволили, а мне купили целый комплект. Все они были кургузые, неполнокровные, разноцветные, как уличные девки, без аромата и смысла. Я ненавидел их и отказывался складывать рядами, чего требовала уже новая нянька, которую звали гувернанткой.

— И ты не выучился складывать?..

— Нет. Без любви я не мог учиться. Особенно рвала меня, просто на куски, маленькая подленькая грязно-красная тварь в самом нижнем ряду. Я оторвал от неё магнитную нахлобучку. Меня ругали. Говорили, что без этой твари всё будет неполным. И ещё говорили, что она такая же, как та! Моя любовь! — и эта размагниченная тварь!.. Я почувствовал, что готов на убийство.

— Бедный мой...

— Да что сказать... Ничего не скажешь.

— Я скульптор. Хочешь, я сделаю тебе такую же?

— Ты дура, а не скульптор. Такую же! Первая любовь не может повториться. Ту, мою, не вернуть уже. Никогда.

— Нарисуй мне её, пожалуйста.

— Нет. Я не могу.

— Попробуй.

— Нет!

— Хочешь, я начну, а ты, если пожелаешь, закончишь?

— Не получится у тебя. Ты женщина.

— Это не имеет значения. Диктуй. Какая у неё была спина?

— Прямая. Аристократическая.

— Ноги?

— Божественные. Одна только вбок чуть-чуть...

— Вот так?

— Да... Да!.. Как ты догадалась?!

— Просто я поняла тебя.

На белоснежно-глянцевом листе посмеивалась, подбоченясь, циклопическая красная буква **Я**.

— Господи, — вздохнул не подумав профессор, а студенческая братия уже тискала его сына и поздравляла. — Только *это не эссе*!

Не исправить общее ликование. Студенты понимали: семейное разбирательство; но все любили его сына, как себя, и что ни сотвори этот мерзавец, его ждали мегатонны фимиама, даже если *это — не эссе*.

Сын поставил цель: доказать отцу, что Бог есть. Любой ценой. Сегодня сын высокохудожественно и прилюдно обвинил отца в эгоизме. «Что выкинет завтра?» — с нарастающим ужасом думал профессор, до степени доктора наук осведомлённый, что водить хороводы вокруг индивидуализма можно долго. Но сидеть! ему! в центре плясового круга!.. Нет.

Глава 2

Отыми, Господи, руки, ноги, да опокинь разум! Тупо сковано — не наточишь ; глупо рожено — не научишь. Умный поп только губами шевели, а уж мы и догадаемся

Ночью было душно.

Жена вся взмокла; профессор отодвинулся от её мягкого старого тела.

В подушке округло и понимающе перекатывались признаки старости подушки.

На новую подушку денег жаль, и придётся признакам ещё поперекатываться. Впрочем, сегодня бессонница плановая, когда хорошо бы вовсе не заснуть, не спать по-серьёзному, не спать до утра, надо не спать. Не надо спать.

Деньги ушли на очередную Библию, купленную в антикварном, в жадной дрожи счастья.

Дом полон, но простые книги уже не бередят. С упорным чувством атеист и учёный Кутузов коллекционировал исключительно Библии.

Он уверен: можно снять основную антиномию, решить моральные дилеммы, отменить распри, войны, даже семейные ссоры, если успокоить мир людей грамотным анализом библейского текста. Цель — покой разумных существ.

Задачи: обрести максимум Библий, разобрать по буквам, — и неотвратимо выплывет и разоблачится ложновлекущий смысл неправдоподобных писаний, плохо переведённых и неаккуратно печатанных. А если собрать все издания, на всех языках, все тиражи, найти все несоответствия, ухватить за бороды всех толкователей — то профессор Кутузов, московский филолог с именем, докажет: Евангелие — выдумки человечьи. Кто ещё справится?!

На новом уровне он, специалист экстра-класса, предъявит истину всем этим паникёрам и трусам, ищущим чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там не может быть. И нет.

Конечно, да, традиция, нация, тяга к трансценденции, распилы на дубах истории, сколы на камне философском, и слабаки не пожертвуют своё призрачное бессмертие науке просто так, придётся поработать, но мечта превратилась в манию.

Богата Русь интеллектуалами; не чета иным обедневающим духовно царствам Европы.

Возразим: ну зачем покупать все-все Библии, чтобы расправиться с одной верой?

Была, была зазубрина между целями и задачами, посему профессор Кутузов, чуя логическую засаду, никому не признавался в потаённой томительной страсти: коллекционируя, обрел он блаженство, утонул, попался на обаянии древних; в каждом томе — засушенные в гипергербарий века упрёков и проклятий, надежд и безответных упований, а он их пальцами перелистывает. Он видит: молятся по храмам бессчётные безумцы, доверяющие слову, и гербарий похрустывает высохшей кровью истории.

...Профессор пообещал проснувшейся жене новые подушки — ладно, потерпим! — и неосторожно решился вздремнуть.

Сначала получилось хорошо, и сверхценная идея уснула, не шебаршась.

Но завыло в небе, загремели, как обычно, зашаркали сапоги, пошли танки, охватило упоение боя, а палец на гашетке, и серые мозги на багровой стене, — и учёный рывком заставил себя очнуться.

Медицинское состояние было неизбежной ночной реакцией профессорского организма на покупки Библии.

Днём бодрила радость; он вживлял новенькую между шершавыми старожилами шкафа под приветственное молчание зацелованных ещё в семнадцатом веке досок, и в шкафу разворачивался шестой день творения в новом количестве экземпляров. Кутузова как учёного томил именно шестой день и то смехотворное, против чего Дарвин правильно выдвинул науку.

Человек не может быть результатом одноразового акта творения, — центральная идея дарвиновского творчества пленила Кутузова ещё в юности. Цельная, простая, в чём-то наивная, красивая, очень красивая, романтичная и глубоко научная. Кутузов умел часами цитировать «Половой отбор» наизусть. «Естественный отбор» ему нравился чуть меньше, хотя, конечно, и тут единство, и борьба, и противоположности.

Библий накуплено много, лучшая на Москве коллекция. Жена спрашивала: остановишься?

Зачем останавливаться? Наслаждение филолога Кутузова *этой* Книгой, будто на месте схваченной изменницей — упоительно!

Можно казнить камнями, огнями, а можно сказать — иди и не греши, о, Книга, соблазнившая мир, отпускаю тебя. Он и говорил ей.

И гудела сердечная нота: искрящийся восторг обладателя, гордость накопителя, сладость мечтателя, упоение вечностью, древностью и сопротивлением. Днём и вечером — жизнь, полная личного смысла. Ни секунды страха! Библия, сказать по секрету, снимает любые фобии, даже если просто подержаться, а у Кутузова полный шкаф прекрасных полонянок.

Однако ночью, строго после обретения, чугунной массой грохота и вони наваливалась война. Она всегда у Кутузова мировая, и ослепительная многоцветность ярких её видений порвала бы, если жить её наяву, любую сетчатку.

Мир ночной войны усыпан изысканными драгоценными каменьями. А инкрустированная броня перламутровых танков! Её задорно прокалывали, будто картонку, острые диамантовые снаряды, полные рубиново-кумулятивной страсти, сливавшей жидкие перламутры внутрь салона. Зеленоватые дары колумбийских недр на флангах влажно и вожделенно проникали в человеческие тела, и воины света, внезапно ограненные, становились изумрудными от сапог до бобрика на темени.

Дотерпеть лишь до утра. Протаскать неподъёмную рубиновую войну на теле, каменный ранец и невозможные контакты меж хрупкими твердынями.

Маяться и грубо кричать во сне, кидаться в крокодиловый бассейн и плакать от неразрешимой, невыносимой, заживо сглатывающей человека любви к телесной жизни в трёхмерной оболочке, — приходилось, к счастью, однократно. Во вторую ночь война степенно уходила, притихшая, углеродная по-простому, и ранец мягчел и вялено скукоживался, и рассыпался прахом.

Жена знала, что на вторую ночь ему полегче, да и покупки пошли пореже. Только в первую, разрывную, ночь со смещённым центром тяжести, когда предынфарктная мука терзала мужа неотменяемо, жена тряслась от страха и усердно всё понимала.

«Подсел отец и завис, он не может соскочить со стяжательской иглы», — безжалостно выразился их сын. Мать отругала его за осуждение.

На третью ночь профессор спал, как младенец, и жена с утра казалась милой и молодой. Тревога сходила с неё медленно, кусочками, жена страдала дольше, чем её домашний маньяк, но не разводиться же. Сколько лет уже вместе. Лишь бы ничего не случилось.

Сын был единственным, кто не дёргался по библиоманному транжирству отца,

тогда как жена и просвещённый ею врач уже согласились с идеей однажды написать в институт им. Сербского. Жена даже конверты купила, почтовые марки, бумагу и полный адресный справочник. Мало ли что.

Но случилось историческое событие. Номинировать его трудно, поскольку любому *со-бытию* можно подыскать аналогию. Этому не подыщешь аналогию. Оно уникально по кровоподтёчной революционной прямоте, времени, месту и простодушию глашатая.

Утром 18 февраля 2006 года в семье профессора включили, как обычно, качественное радио «Патриот», особо любимое хозяйкой дома, и сели завтракать. « Яичница, сухарики — под лапти расписные, бекончик, соки свежие — под клюковку развесисту», — пропел сын, не выносивший сусального тона станции. «Чудовищная бредятина!» — изящным слогом отмечал он её выходы в эфир. Родители обижались, но не спорили.

Профессор слушал придыхательно-фрондирующее радио «Патриот» исключительно из любопытства: когда закроются? Ну нельзя же, дорогие вы мои, в новом тысячелетии работать на лампадном масле. Ну нельзя же всерьёз интересоваться у приглашённого на полчаса маститого священника, на какой сковородке будут жарить бабу, явившуюся в храм в брюках и простоволосой.

Но три раза в неделю в эфире появлялся голос, за обертоны которого профессор прощал этой редакции всё остальное. Кроме того, женщина свободно склоняла числительные и бесстрашно строила деепричастные обороты. Правильно строила — в отличие от подавляющего большинства современных российских журналистов.

Жена профессора тоже приметила женщину. Сын, трижды в неделю поглядывая на сурово помалкивающих родителей, изучал стилистику немых сцен ревности.

...Профессор услышал новость и перестал есть, жена замерла, как в провинциальной самодеятельности, прямо с кофейником в руке; сын ухмыльнулся, отвернулся и спрятал взор в заоконных тучах над городом, ощутив сгущение внутренних туч.

Диктор уведомил народ, что министру образования России накануне принесли доказательства научной *не*правоты Дарвина в той части, где он выводит человека из простейших, путём эволюции. Следовательно, пора переписать учебники по биологии, внести в образование «религиозную составляющую» — так выразился министр — и провести общественную дискуссию в прессе, научных журналах с представителями церковной общественности и прочими заинтересованными представителями.

Ничто не помогло бы нам передать непередаваемое и описать неописуемое. Применим банально-катастрофическое клише: из-под ног у всех членов семьи одновременно уплыла вся земля, а на голову рухнула вся твердь, и каждому своё было выдано незамедлительно.

Не война, нет.

Мирная маленькая новость. Оглушительные взрывы тишины потрясли кухню.

Жена задрожала от страха за мужа. Ясно расслышав, что атеизму пришёл научный конец, а бытие Божие междисциплинарно доказано сибирскими специалистами и успешно доведено до сведения чуткого к инновациям чиновника, она подумала о будущности дубового шкафа, переполненного Библиями. Книги хором, в унисон будут хохотать. А мы накупим подушек.

Она включила телевизор: сказали то же и показали пресс-конференцию министра.

Полистала каналы: везде небрежно хоронили Дарвина. Безо всяких эмоций. Как нечего делать. Наука доказала.

Добрая женщина понимала: эпоха, времена и нравы. Могут говорить что захотят. Цензура в России запрещена пятнадцать лет назад.

Но до слёз обидно, поскольку ей, даме верующей, не требовались никакие доказательства. Более того: она горячо надеялась никогда не дожить до научного признания Бога. Наука, вся заляпанная ложью честолюбцев, не должна дотянуться до Него: это могло оправдать науку и специалистов, в том числе в глазах детей. Жена профессора Кутузова душевно ненавидела учёных и категорически, до удушья и сердечного крика не желала подобных открытий.

Когда муж символически, в запертом на единственный ключ огромном шкафу изолировал священные книги, дабы найти истину в другом месте, главное — без Бога, — никто и не воображал, что количество, зараза, насмешливо перейдёт в качество, считай, прямо в дубовом изоляторе.

Жена почуяла: он, бедняга-философ, оценит происшествие *романтично*! Как назло, февраль, авитаминоз... Что-то надо делать.

Сын возликовал полно и просто: папаня вместе с эволюционизмом прижат к стене. Эссе про его пухлое, дутое, крупитчатое, авторствующее, ненасытное Я гуманиста — можно прилюдно спалить, аки соломенную масленицу. Профессорово Я никогда уже не посмеет советовать и насмехаться. Хана Дарвину, папуля!

Учёный Кутузов, век свой уютно проживший в пуховой люле пикантного интеллигентского агностицизма, почуял абсолютный, ледяной ужас, которому не было

никакого формального объяснения. Воздух окрест расступился, ослабив крутую сцепку молекул, попущенную физикой.

Большое изумление вошло в его дом и село за его собственный обеденный стол. Профессор, к чести сказать, поправил галстук.

В молчании, не глядя, семья дожевала завтрак и растворилась в Москве. 18 февраля 2006 года у семьи началась другая жизнь, неадекватная строгость которой смягчалась лишь призрачной надеждой на имманентную вранливость прессы.

Глава 3

Ино горько проглотишь, да сладко выплюнешь. Удаётся и червячку на веку. Пущен корабль на воду, сдан Богу на руки. Не всяка пуля по кости, иная и попусту

Ненависть, как и правда, у каждого своя: разнообразие, многоцветье, коллизии, картины мира, — сколькими шедеврами обязаны мы ненависти!

А любовь обескураживает. Любовь проста, бессюжетна и дефицитна.

У меня хобби: голоса человеческие. Мои возлюбленные шарады разгадываю неустанно, а как пошёл по эфирной России интерактив — мне устойчиво за хобби платят .

Я, дрожа над каждым голосом, как Ниро Вульф над орхидеями, работаю на радио. Годы восторга, энтузиазма и любви, радости, упоения. Включается микрофон, и поднимаешь парус — и в любовь, и плыть по бесплотным её волнам.

Голос — голограмма портрета в полный рост. Я могу по голосу определить цвет бровей слушателя, марку его велосипеда, породу собачки, социальное происхождение бабушки — что угодно.

Всё революционное мне абсолютно чуждо. Миру — мир. Кажется, именно это лежит в основе конфликта, но я могу и ошибаться.

В начале 1990-х пресса прокладывала дорогу возрождению России. Я по молодости была готова прокладывать любые дороги, но мешало маленькое недоразумение: никто не сказал — где могилка её. Когда были похороны? Я ведь вместе со всеми тут жила с самого младенчества — и не заметила никакой утраты. Россия всё время была со мной, во мне, — как же её возрождать? А людей куда девать? Неувязка.

Пятнадцать эфирных лет прожила в мире яростном, но до звёзд наполненном живой Россией, и мне было просторно. Непростительная аполитичность. Знаю, знаю, следовало бы для проформы поклеймить олигархов и прочих ксенобиотиков. Фигушки. Все мы хороши. Все до единого.

Ещё я не люблю нытиков. Как отваживаются люди ныть и скулить? Безбожники, видимо. У них всегда ночь, никогда не встаёт солнце, не щебечет утро. Биохимия мозга нытика тяжела и зловонна.

Журналисту не показано страдать над каждым словом: работа поточная, конвейер постукивает, перемолачивая бытие в информационные продукты. Я же по-дурацки страдаю над каждым словом, поскольку плохо воспитана, будто писатель: конструкцию люблю, и чтобы каждый кристаллический узел подрагивал и сиял, и всё озарялось переливчатыми смыслами. Дура.

Очень люблю видеть слова глазами, словно каждое — породистый скакун арабский, а мне доверено сохранить породу. Ушами я люблю голоса. Глазами люблю буквы, всегда приятно повидаться.

В знаменательный день, когда министру доложили об антидарвиновских открытиях новосибирцев, я разорвалась, словно мужчина какой: то ли в храм бежать и свечку ставить, то ли в магазин за бутылкой. В любом случае — щемящий, восхитительный праздник: министру доложили! Вот вам и возрождение, вот и Россия, выкусили? Всё было живо, как я и думала, и нечего тут возрожденчеством маяться. Наши люди! Молодцы новосибирцы!

У нас образовательный министр — уникум: его мозг обнажён, и вечно с подветренной стороны. Ему никто не верит, как и медицинскому, министру с удивительными глазами: смотрят кругло и прямо, как протезы, неподвижные и бегающие одновременно. По человеческой анатомии — не может быть, но это невозможное и есть у медицинского министра. Им обоим не верят живые люди. У обоих ужасные имиджмейкеры. Или хорошие?..

И поставив, и сбегав, я призадумалась: а завтра? Сегодня чуть не первополосная новость, о да, но вспомнят ли о ней завтра? Шестое чувство моё шептало седьмому: всё может быть. Подветренному министру, которому никто не верит, поспешно растолкуют: *вброс*, а заодно объяснят наконец про *слив*, манипуляцию и закон предшествования. И всё?

Исключительно интересны вбросы правды. Мне страстно хотелось видеть во вбросе слив. Министру слили не плоскую дезу, но попытку разрешить антиномию века. Будь он образован, вымок бы весь в слезах безудержного счастья. Службу спасения позвали бы в министерство: начальник тонет в слезах! Нобелевская премия новосибирцам!

Потрясающую новость огласили по всем каналам и по нашему «Патриоту»,

разумеется, тоже. В рядовых подборках, но шесть раз. Ровно, бесстрастно докладывая народу невероятное, информационный персонал не шелохнул ни единой бороздой-извилиной. Ни полкомментария не прозвучало вослед, ибо в редакции «Патриота» в учёных открытиях Бытия Божия никто не нуждался, доказательствами не баловался. Всё и так ясно.

Однако я, представив объём предложенной министром работы, особенно в части обсуждения «религиозной составляющей» со всеми «заинтересованными представителями» в прессе, заскулила. Мои-то программы аналитические. Новостники прочирикали, дальше пошли. Мне же тема для разгребания.

У российской прессы нет удобопонятного словесного инструментария для обсуждения «религиозной составляющей» с кем бы то ни было. Для дискуссий об этой *составляющей* совокупное человечество ещё не выработало лексикона.

Окинув известное мне поле, я не увидела никого, с кем завтра же по-хорошему, за круглым столом, перед лицом своих товарищей, можно покатать сей оглушительный вброс. Науке неизвестны взрослая доза и семантическое вещество дебатов о Боге и Дарвине. Спасём школьников от запредельного умственного перенапряжения!

На следующий день в редакцию принесли письмо без марки, аккуратно писанное рукой, в настоящем конверте, отправитель — Кутузов. Послание имело поэтическое содержание. Адресованное мне лично, письмо содержало именно то, что нельзя присылать именно мне: я не выношу поэтов и стихи.

Была и приписка прозой:

«В памяти магиандры нет белых пятен. И памяти нет, поскольку магиандра есть память.

Магиандры нет, однако есть магиандра».

И подпись: Магиандр.

Не понравилась мне шутка поэта Магиандра. Цветисто, хрупко, ушёл в личное, и аллитерация на пустом месте. В чём дело? По-моему, так пишут сетературу в рулинете. Нечиткое чтиво, полагающееся на восприятие. Нельзя полагаться на восприятие. Магиандр — провокатор. Нарочно бреду наслал, ясно.

Письмо не содержало никаких актуальных просьб, и я с истинно спокойной совестью положила его на полку, где хранились незаборы.

Додумав вчерашнюю новость и твёрдо решив не выступать в эфире с обсуждением головокружительной школьной участи Дарвина, пока новость не станет прошлогодней, я собралась домой, вызвала лифт и поехала на первый этаж. Лёгкая

тревога покалывала душу, но я с усилием выключила сейсмограф.

В парадном подъезде редакции ко мне подошла седоватая женщина с измученным тощим лицом и решительно спросила, не знаю ли я Елену. У женщины были маленький ротик и впалые щёки.

— Знаю, — говорю. — Или мне это кажется.

— Ой, это вы! — вскричала женщина. — Я узнала вас по голосу!

— Я. Чем вам помочь?

— Вам пришло письмо со стихами?

— И с магиандрой. Языковая провокация.

— Да, это мой сын балуется. Не доверил почте, сам принес. Не обращайте внимания.

— Договорились. Ни за что.

Женщина бойко выпустила блиц-обзор десятка моих программ и потребовала начать оптовую торговлю записями, ибо народ требует.

Старая история. Многим слушателям кажется правильной мысль: пойти на рынок и купить полюбившуюся радиопрограмму. Обычно мы, журналисты, вздыхаем как можно глубокомысленнее и поднимаем взоры к небесам обитания несговорчивого начальства, дескать, не хотят финансировать выгодное начинание. Допечённый сотрудник отдела юмора, не входя в объяснения, однажды выпустил дайджест прогнозов погоды за минувшую неделю, пообещав, что воскресный эфир всегда будет включать в себя эту передачу. Небывалый успех! Фимиам и фанфары, письменно и по телефону. Сотрудник чуть не застрелился.

Расстались. И зачем она приходила? Сказать, что её сын-стихоплёт именно в исторический день почему-то написал в редакцию дурацкую записку и она об этом узнала? Видимо, у них семейка со странностями. Каждый видит, кто что пишет. Каждый слышит и стучит. И кстати, кто назвал ребёнка Магиандром?

На следующий день в редакцию принесли ещё одно письмо со стихами. Письмо уже содержало просьбы. Именно так: просьбы в стихах. Новый эпистолянт удивил меня, привыкшую к подобным чудесам, иезуитским шармом и отточенной иронией текста, безукоризненной грамотностью и уровнем делового этикета: бумагу сложил не поперёк, а вдоль. Я различила хруст и грохот события, надвигающегося, как поезд, на мою жизнь.

За триста лет сложился огромный устойчивый репертуар обращений в редакции мира; но это послание расширяло его на порядок, да простят меня математики. Гипербола.

У меня практически гомеровским *гекзаметром* просили адреса несчастных людей

России! В крайнем случае — телефоны, лучше домашние, на худой конец — мобильные.

Почерк не походил на Магиандров, но адрес и фамилия отправителя были те же. Видимо, поэт-отец поэта-ребёнка. Получалось, вся семья Кутузовых предстала предо мной. Или ещё не вся? Среди них есть хоть один здоровый?

Дальше развернулась обычная цепочка мозговых реакций журналиста на приставания неадекватных членов аудитории. Так, их как минимум трое. Я одна. Отвечать на письма некогда. Зароюсь в песок. Нет у меня ни записей моих передач, ни адресов российских страдальцев гекзаметром. Пусть возьмет любой телефонный справочник, зажмурится и ткнёт пальцем в любую страницу... И стихи ненавижу. Семья не по адресу обратилась. Ну что пристали, ненормальные? Я что, притягиваю? Обидно же.

Спустя два дня, бесцеремонно подслушав мои мысли, мужская часть Кутузовых перешла на прозу.

Младший, застрельщик Магиандр, написал буквально следующее:

«Уважаемая госпожа! Я бешено хочу написать серьёзную, без тени юмора, без иронии, могучую книгу, в которой всё было бы взросло, величие истины зрело и бесспорно, а стыдное — табуировано. Я верующий. Православный.

Каждый день зову её, недоступно взрослую книгу, в мой песочный замок, но лишь войдёт она, моя сладкая гостья, как меня начинает душить страшный хохот. И уже ни единого серьёзного словечка не вылетает из безобразных уст моих, испорченных, искривленных грохотом смеха.

Папа сказал: в эпоху постмодернизма так у всех. Я прошу вашего совета, поскольку вы академик и ваши передачи у нас в семье слушают очень внимательно.

Пока у меня нет ума на такую вот книгу, давайте поговорим на вашем радио на самые актуальные темы. У меня есть идея: Бог и Дарвин.

Художник сначала находит, а потом ищет. Магиандр».

«Вот привязался! Постмодернист чёртов!» — беззлобно фыркнула я и тут же совершила непоправимую ошибку: взяла бумагу и быстро набросала весёлый приговор, уличая Магиандра в плагиате. «“Художник сначала находит, а потом ищет”, — по-детски блистала я эрудицией, — изящная фраза, бесспорно, и принадлежит она французу Жану Кокто, великому магистру известного ордена, и нехорошо с умным видом присваивать себе чужое», и прочая.

На что я надеялась и каким местом думала, отправляя отповедь? Несерьёзная женщина была я в тот памятный день. О душе надо было думать, о душе.

Глава 4

Не дорог подарок, дорога любовь. Дар — не купля: не хаят, а хвалят. Кого люблю, того и дарю. Бабушка, что ты мне откажешь? — Не знаю, разве дорогу до церкви

Профессор Кутузов шёл по идеальному проспекту, выстроенному пленными немцами. Удобство кругом и во всём, уют и торжественность. И нет на Москве другого проспекта более жизненного, складного, приветливого, почему и живут на нём исключительно за большие деньги, а раньше по исключительным заслугам.

Подморозило. На пористом асфальте хрустели маленькие, как салфетки, стрельчатые прозрачно-сероватые ледяные картинки луж.

«Почему меня так ранило, или заклинило, выражаясь лексикой моих студентов... Почему я чуть не умер? Ну сбрехнули наши СМИ — какое дело! Белый шум. Чрезвычайные новости как обычные. Или обычные как чрезвычайные. Я взрослый человек со сложившимся мировоззрением. У меня семья, достаток, я признан коллегами здесь и там. Я подтверждён и апостилирован. Значит, это вполне возможно и без...»

Не решившись даже подумать «без Кого», профессор чуть не зарыдал. «Что ты сделало, проклятое радио! Вот праздник сегодня — 23 Февраля, не знаю, как он теперь называется, но армейский. Хотя все почему-то думают — мужской. В душе народа спеклось навек: воин — значит, мужчина. Мужчина — то бишь воин. И как ни поименуй праздник, даже дети в школах собирают на подарки мальчикам. То есть будущим воинам. Так и с этим делом. Было им и без Него хорошо, а теперь волнуются, Бога подавай, — но жили ведь, не умерли!»

Отметив унылую бессвязность мыслей, он споткнулся на ровном ледяном асфальте, удержался и пошёл медленнее.

Кутузовский проспект отменно малозвучен. Летят прекрасные машины, а тихо, и только по графику автодвижения властей замирает всё и стопорится, пока слуги не пронесутся, а так — лучшее прогулочное место.

Профессор вглядывался в окна, ласкал фасады воспалённым взором полумученика, и око никак не могло насытиться зрением. По определению, будь оно неладно.

А за фасадами? В текучем инобытии за стеклопакетами, кондиционерами, в размеренной медлительности дизайнерских жилищ, интерьеров по каталогу и по личному вкусу тех, кто имеет настоящую власть, настоящие деньги, причастен тайнам и

пружинам, — что там у них по шкафам? Скелеты? У всех есть. Значит, и в этих огромных чумах. Человек смертен, и в каждом шкафу скелет. Следовательно...

Силлогизмы тоже что-то не давались.

«Сегодня и, боюсь, во веки веков — день великой новости. Будь она неладна. Будьте вы все знаете где...»

Логика вообще ущербна, напомнил себе профессор Кутузов, поскольку вся, целиком, зависит от предпосылки. Никогда не любил Бертрана Рассела. А вот прижало, и вспомнил, и прощения попросил.

«У вас по шкафам скелеты. У меня в шкафу Библия. Ваш ход».

Из арки выковыляла бабуля в дублёнке. Кутузов остановился и в упор осмотрел бабулю. Подслеповатая, не заметит упора.

Она прошаркала в его сторону шагов десять, и он разглядел в ней даму, ещё пять-шесть — женщину со следами былой, девушку на выданье и девочку в бантах. Чудесный случай полноприводной женщины сам плыл в руки. Профессор откашлялся, привлекая к себе немного внимания, сделал почтительный шаг навстречу, неприметно поклонился и сказал:

— Вы позволите? У меня, как у всех мужчин, сегодня праздник, и я хочу подарок. Я выбрал. Не будет ли с моей стороны невежливостью просить вас вручить его мне?

Она остановилась, удивлённая речью. Отвечала от имени дамы:

— Разумеется. Чем вам помочь?

— Возьмите у меня Библию.

Дама тут же соскользнула в бабулю, глаза потухли, губы сжались.

— Почём ныне опиум народа?

Профессор отшатнулся. Преподаватель стилистики, творчества и словесного мастерства, он отметил и безупречное отсутствие налипшего предлога «для», и высокое «ныне», и ехидное, особенно в этих антикварных устах, «почём». «А не влип ли я?» — успел подумать Кутузов, но сказал:

— Я хочу *подарить вам* эту книгу, чтобы она жила здесь, на Кутузовском проспекте, в вашем доме...

— Ах, голубчик, у меня квартира. Дома растут на другой планете, куда не долететь на рисовых страницах вашей книги, — смягчилась рептилия, возвращаясь в даму. — Вы же небось гостиничную принесли, в искусственной коже, а там, насколько я помню, тонюсенькие листочки, будто на раскрутку.

«Эк её кидает!» — невольно восхитился Кутузов.

— Как вы догадались?

— Я тоже первым делом избавилась бы именно от неё, — пояснила она, двигая даму.

«Что-то не клеится беседа...» — озадачился было Кутузов, но дама протянула руку и сказала:

— Разрешите пожать вашу. Я не могу принять ваш подарок в собственность, но у меня есть дети, внуки... и, если уж начистоту, правнуки. Могу передать кому-нибудь из них. А кстати, вон в том доме открылась букинистическая лавка.

— Нет-нет... простите меня. Я хотел вам, лично, вы такая...

— А какая вам разница, кому я отдам вашу Библию? Да хоть в контейнер брошу — вы же не увидите. Не узнаете. Неужели вам небезразлично, где окончит свои дни ваша недорогая, вся в опечатках, некогда запретная книжица?

Сначала возмутился коллекционер, потом мужчина. Внезапно взъярившись, Кутузов сверкнул очами:

— Благодарю вас, мадам. Извините. Счастливого пути.

Бабуля усмехнулась, погасила последние отсветы в зрачках и двинулась, умудрённая, в сторону от Кутузова.

Профессор стоял на февральском ветру уютного проспекта, сжимая в кармане портативный томик Библии, смотрел вслед удивительной женщине, разбирающейся в сырье для самокруток, и не мог принять никакого следующего решения. Первый раунд провалился.

Глава 5

Артель атаманом крепка. Не делай своего хорошего, делай моё худое. Уела попа грамотка. Нога споткнётся, а голове достаётся

Магиандр опустил письмо в грязно-синий настенный ящик, худенько присыпанный умирающим снегом. «Я буду писать ей, пока не проснётся!»

«Здравствуйте, уважаемая госпожа! Какое счастье, что вы ответили!» — прочитала я.

И не смогла оторваться.

«Книга любви... Книга книг.

Ах, любовь.

Ах, книга.

Люди обожают справедливость, поэтому в мире разлита смертельная жестокость.

«Братья!..»

Кто не кричал это братьям!..

Я, братья, буду тихий, как стихи.

Кивают великие: терпи. Тебя не поймут. Тебя будут проклинать. Терпи, так надо.

Но только великие. Остальные работать не мешают. Спасибо им.

Уважаемая госпожа! Вчера я видел женщину лет пятнадцати в обществе другой, лет сорока. Репортаж прилагается. В прозе.

— Как?! Тебе нравятся мужики?

— Нравятся.

— Какие?

— Обречённые.

— Почему?

— С ними невозможно жить, но жить стоит только ради них.

— Детский лепет.

— Да. Но я не хочу гламурного буржуа.

— Почему?

— Он будет читать газету и высказывать мнение.

— А лучше — пусть поднимет паруса и откроет Америку?

— Очень хорошо. Главное — откроет.

— А есть ограничения по видам геройства?

— Да! Мой герой не должен лететь на Марс.

— Это ещё почему?

— Технология! Просто сумма технологии. Белка и Стрелка двуногая. Он же не прогонит марсиан, не привезёт золото мира, не...

— Понятно. Тебе нужен букет роз, но это розы мира.

— Желательно. Я могу сидеть у камина и смотреть на огонь. Но мой герой — стальной солдат из воинства света.

— А дети?

— Ему их не рожать. Я что, сама не рожу? Пусть бросит семя.

— Пассионарная подруга сумасшедшего. Ты накличешь себе горя. Кто будет покрывать тебя, пока он покоряет мир? Ты высохнешь от страсти, ведь ты страстная, у тебя выгорят и полопаются яичники, ведь ты не монахиня, да и у них иногда горят...

— У мира много яичников.

— Не ответ!

— Блаженство на розовом песочке, в кружевах? Ярости хочу, настоящего зверя, героя на века!

— Может, Бог устроит тебя?

— Бог дал мне огонь, я одна перед Ним!..

— Болтушка! Ещё заговори стихами!

— А что? Могу... Нянечка, дай мне ноги, я пойду потренируюсь.

— Не привыкла ещё? А ведь хорошая фирма. Вот бери, сейчас пристегнём и потопаем. На прогулочку, вот так, вот так...

Видите, я способный и наблюдательный.

Догадайтесь, кому из них сколько лет?

Уважаемая госпожа, я буду часто-часто писать вам, пока вы не согласитесь помочь нам. Я вполне себе талант и графоманю регулярно. Угроза: я завалю редакцию радио посланиями, а поскольку у вас наверняка в тонусе какой-нибудь отдел писем и перлюстрация, то вам накидают в конце концов, извините, мало не покажется. Кстати, вам понравилась моя мама? Она была у вас на днях, седенькая такая, а ведь лет ей всего ничего. Дело в том, что у нас есть ещё папа, великий учёный. А любая мама при великом папе — камикадзе, что вам известно не хуже, чем мне.

А ещё мне известно, что папа тоже написал вам письмо, я видел конверт и догадался, что адрес он списал у меня, хотя ход его мыслей на этот раз не представляется мне умопостигаемым. Мои слабые силы слишком слабы, чтобы понять, почему его так переклинило от одной-единственной новости, выслушанной за утренним чаем. Он сходит с ума, и это видно. Он, кажется, готов просить кого угодно, чтобы вообще отменили тот день, вычеркнули из календаря 18 февраля 2006 года. Он просил вас отменить февраль?

Не от хорошей жизни. Как вы понимаете, учёные редко пишут в «дорогую редакцию», и отец, естественно, впервые в жизни. Я не знаю, что вам отправил наш дебютант, но, признаюсь, чрезвычайно хочу узнать, поскольку в судьбе семьи скоро, я чувствую, произойдут перемены.

Конечно, вы будете упорно хранить его тайну, скажете про переписку и прайвеси, — принимаю. Априори я готов и к тому, что вы принципиально не пожелаете общаться со мной после моей выходки с цитатой из Кокто, но так же крепко уверяю вас: молчанием тут не обойдёшься. Ни вы, ни он, ни я, ни бедная наша мама — никто не вывернется просто так, за здорово живёшь. Я хорошо знаю своего отца. Он упорен в

отстаивании. Не перечьте профессору и доктору — бессмысленно. Они все, когда карьеру делают, немного сбрендивают от важности, если можно так выразиться. Они же как дети. Им кажется — если накрыть жука ведёрком, то и нет никакого жука.

Вам всё еще интересно? Отреагируйте как-нибудь ещё раз. Ну хотите — позвоните нам домой, вот номер, вот и мой мобильный, вот мамин, папин, вот и код нашего подъезда, моя электропочта, его почта... Что ещё нужно, только скажите, отзовитесь! Мы должны спасти папу. В одиночестве он не вынесет бытия Божия. Давайте придумаем радиопередачу на вашей станции. А лучше — цикл бесед. С уважением и надеждой. Магиандр».

Глава 6

Утки в дудки, тараканы в барабаны. Тороватому Бог подает, а у скупого чёрт отбирает. Одной рукой собирай, другой раздавай! С тем не бранись, кому будешь кланяться. Тише ходи, святых не ушиби!

«Новая строка была толстая, как обожравшийся удав. Она всё тёрлась о бумагу, стараясь избавиться от опостылевшей выползины смысла, но смысл обезумело цеплялся за буквы хребта, усиливая конвульсии гибких мускулов синтаксиса. Строка всё яростнее тёрлась, уже беснуясь, уже вся в крови, но смысл уверенно держался за слова и не позволял витринить и манекенить себя отдельно.

Строка ползла на него из-за горизонта — откуда тут горизонт? Ах да, это воображаемая линия соединения мозга и души, конечно. Оттуда строки обычно и выползают, полные здоровых, пышущих вечностью букв. Какая мука! И всё это хорошо? Хорошо, что кончится бал, ну их, ваши свечки...»

Профессор хмурился, но человеку свойственно и нервничать, и успокаиваться. Седативная мысль: филологическая разминка прошла удачно.

«Люби ближнего, как самого. Вот и буду сегодня любить себя, хоть подучусь... Ну что ты сегодня тащишь ко мне, удавушко? Посмотри по сторонам, кому ты сегодня нужна? нужно? нужен?

Презентации суперблинов и показы расшитых валенок, и правила корпоративные, топ-менеджеры, шаманы, гламур и дискурс, будь он неладен, успех и респекты вам, — вколотило же вас, дорогие россияне, по самые шляпки, милые вы гвоздики, сырковые массы восставшие, шурупчики славного по-китайски времени. “Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам, и

впоследствии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Господа, раздражая его делами рук своих”»*.

* Второзаконие, 31:29.

Профессор знал Библию наизусть, с любого места цитировал, и это вгоняло студентов не то что в страх, а в кататонический ступор. Многие думали даже, что по первому образованию он, как Сталин и Дарвин, священник-недоучка. Одно время по факультету легенда ходила, будто Кутузов — монах в миру, но потом она рассосалась ввиду определённых нестыковок.

«Вот у них какая жизнь. Я-то другой, а у них массовая культура... — Тут он спохватился. — Кажется, занудствую в морали. Сужу, осуждаю, присуждаю, а мне ведь решать надо...»

Кутузов, мечтая, чтоб все треснули, шёл по городу, прижимая к сердцу Библию. Он редко ходил гулять, он жил среди букв и учил студентов словесности. Методика исследовательской деятельности ещё в юности убедила его: наука есть наука, мощь, достоинство разума, и учёный должен анализировать. Только учёный право имеет, остальные не имеют.

Дама с Кутузовского проспекта насторожила его.

Раньше, коллекционируя Библии, он азартно посмеивался над человечеством, уверявшим его в главенстве сей книги над всеми, над всем. Он поверил человечеству и по частям собрал его центральное сокровище у себя в шкафу. Он платил деньги за наслаждение видеть эти обложки, доски, переплёты, переводы, переиздания, подарочные , гостиничные, миниатюрные, с обрезами, каменьями, заплаканные, залитые вином и маслом, чистенькие, чумазенькие, всякенькие... Они были как люди. Они все были от бывших владельцев, у каждой судьба, и ему нравилось разгадывать линии судеб. Ни единой первомагазинной не было в его коллекции, тем более что перевод не переделывался давно, а ошибки прежнего он все знал наизусть.

С тупой болью сегодня он понимает, что ни за какие блага человечество не откажется от своих генеральных заблуждений, как ни анализируй наука что ей там угодно. В частности, человечество не отказывается от Бога, которого нет, это ясно, а следовало бы выдумать, как сказал один умник. Грустно, иррационально, а что делать!

Кутузов прогнул свой агностицизм как мог — вплоть до признания человека чудесным созданием, если уж оно смогло выдумать такую прекрасную сказку о Христе, о любви, всепрощении... Со всепрощением он, правда, так и не разобрался, но слово милое, вполне.

Дама не взяла книгу. Дама высмеяла его. Грамотная дама. Знает, что опиум

народа, а не для. Сама ли читала? Следователь просветил? Бумага на самокрутку! Выжила всё-таки, старая, вернулась в дом, да куда — на Кутузовский! Может, не за себя страдала, может, по молодости брякнула что не надо кому не стоило. Значит, потом и на небо гневалась, и *понять* хотела, но ум и логика не справлялись, она плакала, держалась молодцом, а тут, наверное, и март пятьдесят третьего года* подошёл. Да, наверное, так и было.

* 5 марта 1953 года умер И.В. Сталин.

Но сейчас-то, под занавес, почему не взяла? Неужели не пора о душе подумать?

«А ты-то в её годы, — выполз удав, — ты-то будешь о душе думать? Ты и сейчас в душу не веришь, а тогда?»

«Вот не до тебя сейчас, не до тебя!» — наворчал Кутузов на любимого удава.

Ему всегда жутко нравилось мыслить. Как малышу леденцы. Особый, личный способ: мешанина предчувствий, предволнение, а потом торжествующе выползает удав и мерно бьётся, вытряхивая хаос и разбрасывая разноцветные перламутровые буквы. Отскакивая от изумрудно-золотой кожи-чулочины, литеры-жемчужины сами вербализуют мир, заполняя новорождаемыми смыслами, бесконечно множественными. Выбить из хаоса жемчуг!

Однажды задержав пробег удава, интеллект остановил себя, как на стоп-кадре, и понял собственный механизм. Другие в ловушке соблазнительного стоп-кадра смеются, а Кутузов поверил.

«Пора бы чему-нибудь случиться», — вяло подумал Кутузов. Но ничего не случилось. Бессмысленно прогуляв рабочий день, он вернулся домой и с аппетитом съел ужин под притворно равнодушным присмотром жены.

Глава 7

Богу-то молись, да и чёрту не груби! Тут, брат, голова в ставку идёт. Повадился волк на скотный двор, подымай городьбу выше. Собаку мани, а палку держи! Что за слава — напоить пьющего! Напой непьющего! Чем кто соблазнился, тем и других соблазняет

В редакцию радио я хожу не каждый день — умучить меня письмами Кутузовы не смогут. Первое. Я сама выбираю темы и гостей, и рабкоры мне не требуются. Второе. Надо идти навстречу пожеланиям трудящихся? Надо, конечно, а можно и не идти. Третье . Но всё это не важно!

Важно, что передачи быть не может! Ну как этот Магиандр представляет себе её текст? Дитя филологическое, он думает, что всё выговариваемо или выписываемо. Папа у него с ума сдунул, мама еле помнит, что она женщина, понимаю, конечно, всё понимаю, но я-то, кажется, в своём уме? Или как?

«А почему же они всей семьёй именно к тебе обратились? — вежливо уточнил у меня внутренний голос. — Ты что, одна на всю радиоимперию? Журналистов полно, радиостанций много, в том числе разговорных и прямоэфирных. Может, всё гармонично ? Ты подумай, подумай...»

Выйдя сегодня в эфир, я немного отвлеклась от семейства Кутузовых, побеседовав с известной и заслуженной учительницей о преподавании русского языка первоклассникам. Слушатели всемерно поддержали все идеи. Русский язык в опасности. Все на защиту русского языка. Где будет общий сбор?

Мне безумно надоело слушать защитников языка, которые звонят, заключают договор, покупают по каталогу, живут в *двух* тысяч шестом году и далее по списку, и он необъятен. У нас даже министры никак не сподобятся выговорить «в *две* тысячи шестом году», а уж остальным — что, сам Бог велел? Надо им всем год русского языка устроить с принудительными воскресными чтениями орфографического словаря. Ещё лучше — розги. Это по субботам. Как скажешь прилюдно «конкурент*н*оспособный» — всё, спускай штаны. А ляпнешь про «религиозные конфессии» — палки. Через неделю русский язык будет спасён. Или воцарится сладостная тишина.

Это всё мои мысли во время эфира. У меня правило: на конструктивные вопросы слушателей отвечает гость, на прочие — я. Лежу на амбразуре.

В тот день слушатели вели себя прилично, бить было некого, время прошло быстро, пресно и бездарно. Всем понравилось. Раньше мне тоже нравилось, сам процесс опьянял. Безнадёжность прибыла вторым эшелоном.

Магия волны радио всколыхивает массы на разговоры, коих они с утра и не думали вести, а тут вдруг сваливается на них, например, автор термина «информатика». Бац! Они-то думали, термин сам родился или почкованием, а у него папа имеется. Некоторые даже обижаются: не знали этого раньше! Звонят, уточняют, предъявляют претензии: в школе-де всех информатикой только и мучают, а где высокие материи? Где дополнительные часы по литературе? Где-где... Там же, где и литература.

Автор информатики пять раз им объясняет: в школе преподают не то, что он имел в виду в середине прошлого века. Исказили термин, объясняет он, и наполнили никчемным содержанием. А слушатели — не верят! Он говорит: я, Руджеро Гиляревский , вузовский профессор; мы с коллегами с 1964 года говорили о проблемах передачи

технической информации — вот она, истинная информатика. Не верят! Слово-то вырвалось, обросло за полвека ракушками, пошло в школу, и борода у него ныне, как у Черномора. И Маркс не был марксистом, и Христос христианином.

Когда эфир подсаживается на разговоры о словах и значениях, он неизбежно летит в пропасть, поскольку не одну лишь индукцию каждый понимает по-своему. И прямой звонок на радио есть лучший способ безнаказанно, прямо со своей кухни, втереть уйме народу своё видение мира. Хулиганство плюс.

Тот, кто провёл вроде меня в прямом эфире тысячи разговорных часов, знает: есть, есть неупиваемые тематические чаши! есть испытанные слушательские граали, во всех странах весело подставляемые под сердечные раны ведущего и трепетно хранимые потом в глубине памяти. На винчестере. Воспоминание о выдернутых из журналиста нервах ещё долго щекочет самый сладолюбивый участок мозга того, кто борется за справедливость именно там, где она прежде всего и попирается: в прямом эфире. Он, борец, понимая, как надо жить, разбрасывает рецепты бытия щедро, поскольку ещё и бесплатно: передатчик оплачивает учредитель — ему и в лоб.

Или надо фильтровать звонки, чтобы в пространство влетали строго концептуальные. Почти на всех радиостанциях, кроме нашей, давно фильтруют, поелику боятся народа-то или ведущим не доверяют — под предлогом сбережения их психосоматики. Вообще-то мода на настоящие интерактивы может и пройти. Останутся вопросы на пейджер и по Интернету, — нет, конечно, воля слушателя священна, однако, знаете, у нас новый формат. Некогда.

Тут на днях станция для торопливых открылась, и главный редактор, бывший телевизионщик, дал интервью прессе. Он искренне поражался: почему из любых видов связи со студией слушатели, включая продвинутых и занятых, выбирают телефонный звонок, даже если им по сорок минут приходится ждать своей очереди на личном мобильном! Ведь им дали пейджер, электропочту да всю электронику мира! Нет, висят на телефоне, чтобы голосом, самостоятельно, за свои же мобильные бабки задать ведущему и гостю свой малозначительный вопросик, — невероятно!

Ему, главному болвану радиостанции, непонятно! А мне понятно. За деньги я еженедельно продаю это знание. Вам — даром отдам, по дружбе: *человек очень хочет быть услышан*.

Человеку пейджер до лампочки.

...Выйдя из эфира в зал, я поняла, что пауза кончилась: женщина, мать Магиандра и жена Кутузова, пришла сегодня прямо в наш офис. Она стояла в центре, но никто не обращал на неё внимания. В руках у неё была тяжёлая, огромная, в досках, эмалях и

серебре, Библия. Женщина держала её легко, не напрягаясь. Видимо, ей никто не предложил сесть или сама не захотела сидеть в таком святом месте с Библией в руках.

Поздоровавшись, она протянула книгу и сказала, что мне надо посмотреть.

Я посмотрела. Библия. Дорогая. Ей место — в Архангельском соборе, а не в офисе радиоредакции.

— Из коллекции моего мужа, — робко начала она.

— Давайте выйдем, — предложила я, заметив на себе недобрый взгляд щеголеватого директора по связям с регионами.

У него всегда пробор по нитке и височки подбриты. Летом ходит в белом костюме на работу! Вообще, скажу вам, есть ещё, есть типажи!

Мы вышли в прихожую, там у нас маленький бар и чай. Налила ей, себе. Молчу. Женщина тоже помолчала, подержалась за одноразовый стаканчик, пить не смогла. Библию положила на стойку, опять взяла, снова положила.

— Вы знаете, что ваши мужчины, оба, написали мне? — осторожно спросила я.

— У нас доверительные отношения, — опустив глаза, ответила она, и я поняла, что эпистолы ей никто не показывал. — Я понимаю, у редакции планы, графики, всё как положено, однако мой сын готов собрать всех своих однокурсников и прийти к вам в эфир, чтобы сделать беседу с молодёжью.

— О том, что на их курсе бытие Божие не вызывает сомнений? — уточнила я, стараясь держаться.

— И это тоже. Просто поговорить о жизни. У вас ведь есть молодёжные программы. Я часто слушаю вас, очень интересно, я вам ещё в прошлый раз сказала. Мальчик вполне искренне верит. Муж атеист, я...

И примолкла, ощутив неуместность исповеди, а может, и представив себя на моём месте, не знаю, — но блеснули слёзы.

— А зачем вы принесли сюда эту книгу? — ласково спросила я.

— Показать.

— Понятно. У вас их много?

— Очень... Он очень чувствительный, хотя и скрывает это.

— Сын?

— Муж.

— От кого скрывает?

— Ото всех. Но я-то знаю... Он покупал их, все деньги тратил, а теперь по одной выносит из дому. А ведь он непьющий. Что-то гложет его. Подумаешь, министру доложили... У нас и не такое докладывают, и ничего...

Бывает. Но доверие ценно и почётно. Истранжирю тематику — народ подскажет. Интерактив.

Отбросив тщеславные мысли, я попыталась подняться над проблемой. Круглый стол со студентами? На людей посмотреть? Не хочу я слышать, как прыщавая мелюзга косноязычно внушает мне и почтенной публике, как важна вера в Бога. Да если хоть один, по стереотипу, ненароком, болтнёт «в наши дни», я там же, в студии, побью мерзавца и не извинюсь. Да, министр не в себе, но для всех остальных нормальных людей вера православная, по крайней мере на территории России, — недискуссионный вопрос.

Как объяснить измученной женщине, что журналистика — профессия, связанная с выполнением общественного долга, заключающегося в обеспечении публики сведениями, соответствующими действительности, на основании которых потребитель может принимать адекватные поведенческие решения? Как поведать ей, что дискуссия в эфире в пользу Бога, ввиду учёного доклада министру, — моветон! И даже если все студенты Москвы лично засвидетельствуют о чудесах — всё равно моветон, поскольку моветон.

Что бы вы сделали, если к вам прямо на рабочее место пришла издёрганная седоватая женщина с огромной старинной Библией в руках — просить о спасении её семьи от министра образования России, которому подали пухлый междисциплинарный доклад о невозможности получения человека путём эволюции?

Она разглядывала меня, будто канунник, и выбирала подсвечник. Заслониться от мучительного взора и крикнуть: «Уйдите!» — я не могла, хотя именно так и следовало поступить.

Громадная книга, почему-то не отягощавшая её рук, будто прислушивалась. Я представила на миг, сколько веков и судеб кипят меж этих досок. Я физически почувствовала: вот они, миллионы живых людей, среди которых многие, кстати, святые, — и всем им стыдно за нашего простодушного министра. Хотя что он мог сделать. Ну принесли ему доклад, он и огласил, полагая, что «озвучил».

— Понимаете, я...

— Да вы не торопитесь, — успокоила меня гостья. — Мне тоже не по себе. Верили мы и верили. А тут вот какая учёная гадость подоспела. Мне-то ладно, мне что. Я за мужа боюсь, у них с сыном и так всё стычки да распри, а теперь получается, что младший был прав. Старший не вынесет этого.

— Да что он — хлюпик? Мужчина, — сморозила я и покраснела. — Должен...

— Он не хлюпик. Но он не вынесет. И особенно «должен» — он этого не любит.

Вот начнётся сейчас истерика, и мне потом объясняться с коллективом. Я предложила женщине всё-таки допить чай.

На удивление, она взяла его аккуратно и споро выпила, не выпуская ношу и как бы защищаясь ею от меня.

Сражение за семьи у нас в государстве часто ведут именно женщины, и очень часто — исключительно с Божьей помощью. Государству они доверяют меньше.

И пока я мыслила штампами, она вдруг сказала такое, чего я раньше никогда не слышала ни на этой работе, ни на той.

— Понимаете, Елена, если он умрёт, это будет безысходное...

— ...понимаю.

— ...нет, нормальное безысходное горе. Просто горе, с которым надо будет уживаться, а это рано или поздно всем удаётся.

— Ну-у...

— Подождите. А вот если он выживет, не сможет с этим жить, но останется физически живым, этого уже никто пережить не сможет, потому что с этим не живут, — вот главное. Понимаете, мёртвому человеку, точнее, телу, всё равно, какие новости по радио, а живой за собой тащит остальных, и куда — неизвестно. А муж мой — атеист с полувековым стажем, он таким родился, ну уродство, ну знаете, бывает волчья пасть, заячья губа, родимые пятна по лицу, а у него — это. Неверие. Но он всё время хочет исправить уродства людей, он же преподаёт словесность, но поскольку именно *этого* у него не видно в зеркале, он и не знает, где он сам урод. Я-то его и такого люблю, он хороший человек, талантливый учёный, у нас чудный мальчик, хоть и немного поздний, но ведь теперь многие в тридцать лет рожают...

Господи! Она готова страдать над могилой своего, как она выразилась, урода, но не соглашалась жить дальше с *этой волчьей пастью*, узнавшей свою беду. Поначалу я так и поняла её.

Слов у меня не было. Дискуссия со студентами в прямом эфире всероссийского радио, в начале двадцать первого века, на условную тему «Бог есть — и точка!» — невозможна. Дискуссия закрыта. Брысь, комсомолята, красные дьяволята, в огненные свои 20-е года прошлого. Здесь я таких безобразий не потерплю. Профанные времена кончились. Я не могу участвовать в организации бреда. И даже если бы могла, то каким образом это спасёт её замечательного мужа? Полагаю, он добровольно женился на заботливой девушке с неочевидными глазами?

Женщина, поймите, есть законы журналистики! Есть, в конце концов, чувство исторического юмора. Всё это я промолчала. Потом попробовала вслух ещё раз:

— Но почему — я? — Конечно, дурацкий вопрос, но другого не нашлось.

У неё был ответ. Наверное, домашняя заготовка:

— У вас ангельский голос. Вам люди верят, что бы вы ни говорили.

— И всё? — с надеждой вопросила я. — Такая малость и привела семью Кутузовых ко мне с невыполнимой просьбой?

Женщина вдруг улыбнулась. Крошечный ротик вытянулся молодым тонкорогим полумесяцем, оттолкнув щёчки почти к ушам, словно шторки. На её лице вообще было мало кожи, самый минимум, только чтоб обтянуть черепные кости. Когда кожная наличность внезапно разъехалась полупрозрачным плиссе, лицо исказилось, и я вздрогнула.

У неё откуда-то взялись глаза, у глаз — цвет, у цвета — сталь.

— Не малость. Этого даже достаточно. Много. Ну, ещё у вас действительно хорошие передачи, несмотря на голос, и вас все слушают, — смягчила удар она.

— И ругают, и письма начальству пишут, и даже доносы.

— Отлично! Это же очень хорошо! Это, деточка, испытание.

— Деточка...

— Конечно, деточка. Вы ещё молоды, а то разве пришлось бы мне вас так долго уговаривать... Пожилой человек, он уже ничего не боится, ему всё ясно — никому ничего не надо, хоть сто передач выдай. А вы ещё молоды, и вам страшно! Вижу! Вас потому и ругают, что вы не понимаете народных веяний, всё своё гнёте: любовь к ближнему, любовь к ближнему!..

Вот не люблю, когда меня ещё и на испуг берут. Закипев, я досчитала до десяти, вдох-выдох, а потом говорю:

— Нет, я не боюсь. Но дискуссия невозможна. Формально для таких диалогов нужны богословы, философы, политики, чиновники, родители, а на выходе — смута, глупость и никакой любви.

— Неправда, деточка. Для таких бесед ничего не нужно, кроме вашего желания.

— Желания не имею. Бог очень долго был изгнанником. Он вернулся в Россию, а вы — опять поговорить?

— Возьмите себе эту книгу, ладно? Сохраните. А то он и её из дому вынесет, а она дорогая. Царская.

— Никак не могу, что вы, пожалуйста, не надо! — зашипела жутким шепотом я, заметив, что из-за угла за нами опять подглядывает директор по связям с регионами.

— Не бойтесь! — сказала женщина и вдруг, убрав полумесяц улыбки, серьёзно добавила: — «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство»*.

* Евангелие от Луки, 12:32.

Стадного пафоса я не вынесла. Мне стало скучно, неуютно, и я предложила ей не беспокоить меня с этим безнадёжным делом. Вежливо попросила, проводила к выходу и проследила, чтоб она села в лифт и увезла книгу с собой. Вдруг муж вечером хватится; коллекционеры — они нервные; не дай Бог уголок у редкой марки чуток загнётся — со свету сживут молниеносно.

Глава 8

То ли, сё ли, задумано — делай! Не робки отрепки — не боятся лоскутков. Не стерпела душа — на простор пошла. Жизнь — копейка, судьба — индейка. Наши в поле не робеют

Он подумал — чёрная курица, но серая ворона подошла поближе и одноглазо посмотрела на него. Не те очки! Он забыл дома сильные очки. В этих, компьютерных, он не только пернатых перепутает, а самосвал с велосипедом. Вернуться? Ни в коем случае. Ещё раз *выходить*!..

— Февраль — это вам не май!

«Сильно сказано», — отметил Кутузов и невольно посмотрел на голос. Женщины, всюду женщины, как жизнь. Эти две гуляли чинно, под ручку, всё в прошлом, а Тверской бульвар вечен. Им бы дедушек, но средняя продолжительность жизни дедушек лишила страну многих золотых свадеб и даже серебряных.

«Я не буду импульсивным, я буду выбирать», — ещё вчера решил Кутузов, наученный той, первой, леди.

— А помните, голубушка, был майский снегопад? В каком это году только...

— И я не помню. Ах, голова уже ни к чёрту! Да и март уже...

«Зачем тебе, старая перечница, помнить дату майских снегопадов? — усмехнулся Кутузов, пристраиваясь вслед беседующим. — Ты помнишь адрес ближайшей аптеки? Вот и умница, и хватит!»

Бабушка вдруг повернулась — вот он, опыт жизни! — улыбнулась Кутузову и спросила:

— Вы не помните, простите ради Бога, в каком году был снегопад в начале мая?

Деваться некуда, пристроился, пень, сам.

— Увы, сударыня, моя память настроена в основном на неприродные явления, — почтительно ответил Кутузов, поглаживая правый карман, в котором сегодня солидная, не гостиничная, Библия в толстом коричневом переплёте, с золочёным крестом на

обложке, довольно чистая, подержанная единственным хозяином, ныне усопшим.

— Ах, какая прелесть! Вы просто прелесть! — искренне восхитилась женщина, останавливаясь.

Её товарка тоже охотно притормозила. Кутузов поравнялся со старушками. «Ну что же мне везёт-то как утопленнику!..» — тоскливо мелькнуло.

— Вы, наверное, тут рядом живёте? — спросила правая.

— Вы, кажется, не те очки взяли, — заметила левая.

Опешивший профессор помотал головой. «Редко с народом общаетесь, папа», — вспомнил он реплику своего чудовища.

— А мы тут, на Бронной, всю жизнь. Эх!..

— Знаете, очки я вчера тоже перепутала, взяла для чтения и вышла в магазин, а попала в парикмахерскую, а там давно салон красоты за большие деньги, ой, вот насмешила девчушек! Мне даже хотели маникюр со скидкой сделать, такие милые... — Это сказала правая.

— А я думаю, иногда полезно походить без очков: совсем иначе видишь мир, — мечтательно сказала левая.

— Я не люблю повторов: два раза выходить из дому, три раза поминать, новый год праздновать, ещё рондо не люблю, вообще куплеты — потому что с припевом... — отбился Кутузов, настойчиво держа перед мысленным взором первую леди.

— Замуж! Дети! Весна! Листопад! — наперебой подхватили его собеседницы, вытаскивая личные повторы. — Рондо не всегда печально, хотя мы вас очень даже понимаем.

Они просто зацементировали его вниманием и пониманием, и тогда Кутузов распахнул шкаф:

— «Бывает нечто, о чём говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас»*, — и посмотрел в сторону МХАТа.

* Екклезиаст, 1:10.

Левая бабушка помолчала секунду-другую, а потом, сверкнув очами, выдала:

— Скажите, голубчик, а вас никогда не смущало то обстоятельство, что именно этот стих Екклесиаста расположен в синодальном издании на странице номер шестьсот шестьдесят шесть?

Кутузов не знал, куда теперь девать глаза. Он машинально вынул из кармана Библию и перелистал до указанной страницы. Точно!

— Простите, — понизив голос, вмешалась правая, — у вас что-то случилось? Вам нужна помощь?

— Да, — выдохнул он, — у меня всё случилось. Можно, я подарю вам эту книгу?

— Солнышко! — заулыбались бабушки. — Мы ещё от прадедов храним, и своя есть, а новая нам как-то не к лицу. Мы же не в шкафу наши держим, а под образами. Куда ж мы вашу положим? Грех выйдет, если в шкаф или на полку... прости Господи.

И они синхронно перекрестились.

«И февраль не май, и Тверской бульвар не Кутузовский проспект», — чуть скрипнул зубами профессор. Дамы почтительно замолчали, уважая чужое горе и не продолжая своих, как они решили, бестактных расспросов.

— Ну, спасибо. До свидания, — поклонился Кутузов.

— С Богом, — в унисон прошептали женщины.

Глава 9

На суету и смерти нет. По бутылке пробку прибирают. Вселился чёрт в боярский двор. Хвали жизнь при смерти, а день вечером. От живого человека добра не жди, а от мёртвого подавно

Магиандр проснулся и не пошёл в университет.

Квартира плавала в горьковатом тумане кофе: аромат и респектабельность. Какое утро!

Думал написать несговорчивой журналистке, но вдохновения не ощутил. На свежую голову он решил было, что зря затеял.

Вдруг с кухни раздался вопль, и Магиандр понёсся на звук, сшибая стулья.

Мать ползала по полу, собирая тряпкой кофейную лужу, а отец, который уже два часа как должен был сеять разумное в университете, вопил не своим голосом нечленораздельное, раскачиваясь на табуретке. На столе, красноречиво распахнутая на середине, обсыхала старинная книга с оторванной титульной доской, еле удержавшей на себе свой крест. Серебряный оклад. Изумительные эмали. Семнадцатый век. Шедевр всех искусств. Десятки выдранных страниц скособоченной стопкой беспомощно валялись поодаль, на холодильнике. Гравюры заляпаны кривыми кофейными кляксами.

Лицо матери было неузнаваемо: распухло, как бы даже обретя мышцы, но позеленело. Лицо профессора, перекошенное, дёргалось, губы шевелились, и вновь вылетал вопль.

Магиандру захотелось вернуться в комнату и крепко заснуть. Немедленно.

Прежде в доме не дрались, не кричали, кофе на пол не проливали, книг на кухню и мимоходом не заносили. Родители жили ровно, зачехленные в личных

информационных телах, но договорные акценты сходились на чаяниях отца.

Следовало что-то совершить. Магиандр не смог выдумать — что. Мать увидела его и махнула мокрой рукой — уйди! Отец увидел её жест и медленно повернулся к сыну :

— Ты взял ключ?!

— Какой? Что происходит?..

— Сынок, уйди! — крикнула мать. — Он не брал, и никто не брал!

Магиандр понял, что пропал ключ от шкафа с Библиями и начинается светопреставление. Ключик уникальный, шкаф крепкий, величественный, цельного дуба. Значит, любовь заперта, входа нет, и сегодня тут никому не позавидуешь.

Растерзанная на столе, похоже, единственная Библия, оказавшаяся за пределами дубового сейфа, выглядела страшно. Вид её вызывал острую боль и надрыв, и Магиандр чуть не завопил вместе с отцом, и даже обрадовался их горькому единству, впервые в жизни.

— Папа... — неожиданно произнёс он слово, которое не любил, не выговаривал, и вдруг оно вышло.

Подействовало, но ужасно: профессор закрыл лицо руками, замолчал и сгорбился. Мать домыла пол, сама умылась, провела костлявыми пальцами по мокрым драгоценным страницам, уцелевшим в составе книге, и тут же зашелестели оторванные, будто живые, на отшибе холодильника, словно все страницы едины и чувствуют вечную связь.

Отец, поёжившись, укоризненно глянул на распахнувшуюся форточку и встал.

— Я пойду к реставратору, — скрипуче сказал он жене. — Собери это...

Магиандр кинулся помогать матери; безжизненно, в прострации она смотрела на разрушенный раритет и не могла дышать. Сын сложил оторванные страницы по номерам , а мокрые внутри фолианта проложил салфетками, не представляя, чем спасают антиквариат.

Отец наблюдал за его неумелой активностью и тоскливо молчал. Мать начала всхлипывать. Магиандр упаковал руины в пластиковый пакет из-под кроссовок, накрутил мешковину, сложил в рюкзак и решился:

— А с тобой можно? Я не пошёл в университет.

— Я тоже... не пойду, — кивнул отец. — Но без тебя там... заскучают.

— Без тебя тоже.

— И кого отправить им на веселье? Что правильнее? — вздохнул профессор.

— Никого не отправим, ну, пожалуйста, возьми меня с собой!

— А давай, ребёнок, ты всё-таки пойди учиться. Моя печаль, я и понесу... мастеру. Пожалуйста, иди в школу. Ну, то есть, ох...

Раньше между ними не было нежности, а сейчас пришла. Сын не нашёлся, как продолжить уговоры, и отступился. Отец коснулся мешка всё ещё прыгающими пальцами, взял так бережно, что жену опять дёрнуло ревностью; поплёлся прочь, а на выходе остановился и застонал. Жена шагнула к нему, но Магиандр вовремя удержал её.

Профессор отправился лечить самое дорогое.

Женщина сварила ещё один кофейник. Магиандра затошнило.

Глава 10

В ком есть страх, в том есть и Бог. У меня подушка под головой не вертится. Хоть он и свинья, а всё-таки человек. Каков мастер — таково и дело. Когда пир, тогда и песни. Лапоть знай лаптя, а сапог сапога. Затянул бы я песню, да подголосков нет

На улице пришлось принимать решение. Везти больную на метро — кощунственно. Хватать извозчика — вдруг на мастера не хватит? Идти пешком — далеко , и ноги подкашиваются. Кутузов столбом стоял, дрожа и паникуя, на краю тротуара.

Поблизости лихо тормознула компактная серебристая мерседесинка. Выпорхнула песцовая шубка, каблуки поцокали до магазина, пять минут и быстро назад — ещё десяток цок-цоков, мотор, машина рванула — но подала назад. Девушка повторно покинула свой уют и осторожно подошла к безвольному, опустошённому Кутузову.

Взяв несчастного под локоть, молча подтолкнула его к машине, упаковала в салон податливое тело, прижимающее к груди похрустывающий пакет, включила печку и спросила, куда везти. Кутузов покорился и назвал адрес.

— О’кей. Через пять минут будем!

Мастер жил близ Кропоткинской. Ехать оказалось больше пяти, Кутузов успел ожить, согреться, смириться и разлепил губы:

— Курите, если хотите, не обращайте на меня внимания, — сказал он своей водительнице.

— Что-о-о? — поразилась девушка. — А, поняла. Если я за рулём, то, как современная, должна ещё и курить. Вот до чего доводит умных людей стереотипное мышление! Практически до хамства.

Помогло, встряхнуло. Членораздельно извинившись, профессор повернулся к девушке и попросил объясниться. Стереотипы? О, любимая тема!

— Я работаю с четырнадцати лет, — сказала девушка. — Машину я заработала сама, без участия родителей, сама же её и кормлю. Ага, вижу, ещё... Повторяю. Я заработала мерседес *не* проституцией. Ау! Я не проститутка. Вы, случайно, не в школе преподаёте?

— В школе, — улыбнулся Кутузов, — высшей школе идиотизма. Я учу студентов сочинять произведения в разных жанрах. Гимнастика для ума. Профессорствую, знаете ли.

— А, тогда всё понятно. Вы думаете, современная молодёжь обладает кургузым клиповым восприятием, жует прогорклую американскую кукурузу, выбрала пепси, занимается сексом на задней парте, не видит дальше носа, хочет наслаждений, работать не умеет, косит от армии — далее по списку.

— Не только, не только. У меня сын примерно ваших лет. Он мается иначе. Он ходит в церковь, дома читает жития святых. Между делом пишет эссе, стихи, письма — причём руками, не на компьютере. Он полагает, что верит в Бога, мне же даёт понять, что я отстал от жизни.

— А вы что — действительно отстали? — искренне заинтересовалась девушка.

— До недавнего времени я был уверен, что жизнь отстала от меня. Я гордый, — ещё теплее улыбнулся девушке Кутузов.

— Прекрасно. Господь любит и грешников. Значит, теперь вы научились признавать свои ошибки?

— Не думаю, что научился, но чему-то учусь, это факт. Сегодня просто продолжение кошмара...

— Как? И я кошмар? — обиделась девушка. — Вот высажу вас на мостовой — пусть утешает постовой. Ой. Простите, случайно вышло...

— Стишками балуетесь? — сочувственно диагностировал профессор. — Моё чудовище тоже.

— Простите. Я не хотела. Читать живому человеку стихи, без объявления войны, за здорово живёшь, — я сама шалопаев ненавижу, которые бесцеремонно читают.

— Кажется, я тоже, — вздохнул Кутузов. — А позвольте спросить, и я сразу прошу прощения, всё-таки зачем современные девушки пишут стихи? Вы как думаете?

Помолчав, она поглядела на небритого, задёрганного Кутузова и сказала:

— С современным мужчиной невозможно поговорить о любви. Можно поговорить о любви *к нему*, а вообще, просто о любви, — нет.

— Как вы думаете, почему так получилось? — озадачился Кутузов, с которым давно никто не говорил ни о какой любви. Он сам справлялся с любовью к себе.

— Думаю, это уродства глобальной цивилизации. Рудименты мужественности сохранились осколочно...

— А подробнее?

— Да ну вас, ещё расстроитесь! А у вас и без цивилизации с утра не сахарно.

— Пожалуйста, откройте мне подробности, — с неожиданно требовательными нотками попросил Кутузов.

— Ладно, — согласилась девушка. — Нам, правда, осталось полкилометра, но я успею. Внимайте. Мужчина-воин собирается на войну. Предположим, во времена монгольского нашествия. Он что, бросается к её губам, тискает за все места и жарко приговаривает «Жди меня!», обещает любить вечно, а жена в ответ валяется в ногах и тоже вопит про любовь? Никогда. Я просто уверена, что древние воины, которые не кнопки нажимали, а вели телесную, контактную войну, с оружием в руках в прямом смысле, они вряд ли нуждались в охах и ахах. Жена так встречала его после битвы, что ему не требовались доказательства любви, поскольку любовь сотворялась деятельно. А у нас теперь — вон плакатик висит: холёная дамочка с протянутой рукой говорит кому-то: «Любишь? Докажи!» И это, между прочим, реклама ювелирных изделий. За что она требует у него золота? Что она продаёт? Любовь? А что это? А это, уважаемый профессор, именно то, что он в силах понять. Ну подумайте сами: ведь не будешь провожать мужа утром в офис, как на войну, ботинки ему чистить словно латы. Он ведь куда идёт? Перед шефом прогибаться, обедать по часам, по-английски болтать, и всё это — путь к успеху! Смех, а не успех! И тем более — не *путь*! И жена это знает, и все её внутренности просто трясутся от потаённого хохота. Всё, приехали, — закруглила она неожиданно.

Профессор заслушался и почти забыл горе. Он готов был послушать ещё, но какими словами говорят это молодым девушкам? Она, к счастью, была умница.

— Вы туда надолго? — догадавшись, спросила водительница. — Меня зовут Аня. Возьмите визитку. Если понадоблюсь, позвоните, я всё равно по городу кручусь. Может, нам и обратно по дороге.

Оставшись на тротуаре в полном и звенящем одиночестве, Кутузов с отчаянным взрывом чувства вспомнил о своей беде, но теперь что-то смягчало ход ржавого надфиля по сердцу. Конечно, девушка, но и ещё что-то. Конечно, её необычные, неожиданные речи, — но и ещё что-то. Конечно, не следует придавать значения случайностям.

Глава 11

Не солнце, всех не обогреешь. Со всякого по крохе — голодному пироги. Хоть

нескладно, да больно жалостно. От этих болестей нет мазей. Алмаз алмазом режется, вор вором губится

Главный редактор сказал мне, что группа слушателей радио написала на меня хозяину. Основа трепетно здоровая — улучшение работы любимой радиостанции. Требования пока самые простые, очевидные: обратить внимание на мою подрывную деятельность, особенно в последние полгода.

В нашем коллективе всегда готовы к осенне-весенним обострениям у группы бдительных граждан, готовых покарать. Страна, пережившая кухаркино счастье, впитавшая лексику бдительности, одёргивания и проработок, не могла ж она сразу выздороветь. Кадры-то живы, хотят решать. Мы всей редакцией читаем это межсезоньё по кругу, подмечая особо тонкие мысли, находки, пожелания. Например, открыли определение «обокуджавевшая». Это ругательство.

На сей раз — март уже в зените, пора! — прислали, как всегда, но за одним царапающим исключением: донос был подписан группой «представителей православной общественности». Меня уличали в двуличии: днём на «Патриоте», а по ночам-де веду неприличные шоу в эротических клубах. Хуже того, подрабатываю в жёлтой прессе, пописывая крайне безнравственные рассказики.

Мы посмотрели друг на друга — главный и я. Семь лет назад мы вместе с грохотом прошли через увольнение с другой радиостанции, «Совесть», за несоответствие коммунистическим идеалам и выраженную религиозность. Пикантность прошлого сюжета была в том, что *не соответствовали* мы в 1999 году, когда коммунистические парадигмы давно уж перешли в частные руки, офакультативились наряду со множеством иных парадигм, идеологий, программ и движений. Некое красное лицо внезапно купило «Совесть», объявило себя самым чистым коммунистом и в конце концов, представив пачку писем от «представителей слушательской общественности», выселило нас без выходного пособия за ворота.

Сказано Пушкиным: шли годы. На некоммунистическом радио «Патриот», под владычеством абсолютно другого спонсора, приглашённого на власть за его богобоязненное поведение, мы вновь попадаем на те же поразительные гвозди. Чуден и Днепр, и Москва, и вообще человек. Приняв решение не морочиться по этому вопросу, мы пошли чай пить.

Душа ныла: стиль доносов от новых «представителей» полностью совпадал со стилем старых, прокоммунистических. Мне захотелось уволиться немедленно, но главный сказал, чтобы я не сходила с ума и занялась чем-нибудь полезным. Чудесный он

человек. Знает, что будет, но чаю завсегда выпьет.

Смотрю в окно: новостройки. Серые крыши мокро сияют сталью. Эти дома простоят десятилетия, обретут и утратят сотни жильцов, и наступит утро, когда у меня не будет возможности посмотреть на влажные от весеннего дождя крыши: «представители православной общественности» хотят моего исчезновения. Интересно, как они это себе представляют? Я, с протянутой рукой, христарадничаю на паперти и каюсь перед прохожими, что работала на радио? На груди картонка со справками, что не вела ночных шоу, не писала в жёлтую прессу. Или «представители» видят меня сразу и непосредственно в могиле? А дочь в приюте. Безутешного вдовца сами будут утешать? По очереди?

Мне вправду интересно: как устроена фантазия у писателя доноса? Он предвидит повороты сюжета, запускаемого им по инстанции? Он заморачивается глупостями типа развитие, композиция, кульминация? А может, ему просто нравится медленно, степенно выкладывать буквы на бумагу? Пазлы собирает? Не в те обидно забытые школьные вирши его, безусловно, писанные и никогда никому не нужные, а в символы власти, таинственно связанные с недосягаемым и неприятно живым человеком.

Он, видимо, шевелит сухими от страсти губами, проговаривая имя жертвы, а рука передвигает знаки, подёргивая за невидимую нитку, длинную-длинную, — а кукловода и не видно... Спрятался! Замолаживает?

Как славно Магиандр написал про упёртых: укроют в песочнице жука, накроют ведёрком — и вроде нет никакого жука. Маленький, а умненький. Удалось ему справиться со своими ненормальными родителями? Папу я, к счастью, никогда не видела , а вот с мамой у них точно проблема. Живёт с уродом, как она выразилась, и смертельно боится, что урод узнает, что она считает его уродом. Голубушка, да полсвета живёт именно так! И никто не бегает за журналистами — выступите по радио с объявлением: « Уродство — личное дело каждого. Все живущие с уродом, подлинным или мнимым, имеют полное право жить и впредь. Передайте привет вашим уродам: они тоже имеют право на существование. Администрация». Неужели она этого хотела от меня? До чего я докатилась в глазах общественности!

Тут и пронзила меня догадка: может, *общественность*, написавшая петицию владельцу радио, не такая уж и анонимная? Может, я и знаю кое-кого из *представителей* ?..

Глава 12

В окно всего света не оглянешь. С собакой ляжешь — с блохами встанешь.

Сбирайтесь, бесы, сатана-то здеся! Милее всего, кто любит кого

Магиандр погладил мать по волосам. Она была безжизненна, хотя кофе пила, губами шелестела, будто молилась.

— Он ударил тебя? — сурово спросил сын.

— Книга упала мне на голову, — убитым голосом прошептала мать.

— Прямо на голову, из запертого шкафа? Взмахнула крыльями, потеряв по дороге титульную доску, прилетела утром на кухню — шлёп! И лицо твоё распухло. А профессор вопит.

— Примерно так, — прошептала мать.

— А куда ключ подевался?

— Не знаю. Только предположение, страшное...

— Ещё что-то страшное? У нас тут пещера неожиданностей?

— Я случайно взяла его с собой, когда ходила к ней... В редакцию. Может, обронила там.

— А взяла-то зачем? Я уж не спрашиваю, зачем ходила в редакцию. Это я просекаю.

— Случайно взяла.

— Мам, а мам. У нас в храме батюшка прихожанам до мозолей на языке объясняет, что случайностей не бывает. Я не хочу мозолей. И вообще ты моя мать, я почитаю тебя, как положено, уважаю. А теперь скажи правду: смогла? Уговорила?

— Нет. Она боится коллектива. У них там действительно... мрачно. За нами всё время какой-то хлыщ подглядывал из-за угла и не очень-то прятался. Думаю, письмо твоё не одна она читала.

— Как ты поняла?

— Просто почувствовала. Знаешь, есть чувство. Сердцем. Боже мой, что же происходит?!

— Да тебе явно полегчало! Мам, я пойду досплю...

— Сходи в магазин, пожалуйста. У меня сердце трясётся, руки, ноги. Как вспомню, как он закричал, когда Библия на меня упала... Горюшко моё...

— Как это — упала?! Откуда?

— С полки. Ну дура я, пришла вчера, стала готовить, а книгу на место не поставила, взяла её в кухню. Сама не понимаю, как это случилось. Я в редакцию с книгой ходила: бесов отгонять... прости Господи... Ну вот, упала книга прямо на меня с кухонной полки, по темени, кофе опрокинулся, я в полёте её хвать, страницы выдрались,

а отец смотрел на всё это. На работу собирался... Дальше ты знаешь.

Сын встал перед ней на колени, обнял и попросил:

— Мам, ты больше не вникай в это дело, не ходи никуда, только в храм, и всё устроится. Мне самому тошно уже, сил нет, но тебе знак был, чтобы не участвовала! Знак , понимаешь?

— А может, наоборот, чтобы крепче была? Указание?

— Откуда чтобы крепче? Доска-то отвалилась? Вот что будет, если не то делать. Доски будут отваливаться! От всего!

— А вдруг это всё надо по-другому читать? Я ведь только одну ошибочку сделала: книгу на место в шкаф не поставила. Ключ посеяла...

— А эту ошибочку ты сделала вследствие тучи других ошибочек! Во-первых, пошла в редакцию разговаривать с прессой. Ты умеешь разговаривать с журналистами? Ты знаешь, что это за люди?

— Ну люди же. Ведь тоже люди. Как люди...

— Мама, журналисты не тоже люди. Не ходи больше. Так вот, а вторая ошибочка та, что взяла чужую вещь не спросясь. Вещь вдобавок коллекционная! Он её больше нас с тобой, вместе взятых, любит. Ты покусилась на святое!

— С каких это пор частная собственность — святое?!

— Мама! Ты взяла Библию. Это — точно святое.

— Я взяла книгу, которая хранится в нашем шкафу, а у супругов общая собственность. Я на старых подушках сплю, а у него — собственность! — Маленькие глаза оскорбленно увеличивались и увеличивались. Сын ещё ни разу не видел мать такой пучеглазой.

— Нет, мама, — ухватил он аргумент, — ты сама сказала, что взяла в редакцию вовсе не собственность супругов, а Библию — бесов отгонять. Не так ли?

— Прекрати! — Мать рявкнула на него так, что Магиандр вскочил с коленей, подброшенный пружинной силой крика.

Тишина испугала обоих. Мать резко повернулась к плите, рванула с огня кастрюльку и швырнула на пол, точно туда, где только что стоял на коленях сын.

Магиандр опешил, отступил к двери, ошеломлённо глянул на мать:

— Ладно, я в магазин. Потом досплю.

Глава 13

Так захотелось, что вынь да положь! Так захотелось, что хоть роди да подай! Спрос не грех, отказ не беда. Ель аль сосна? Лихое гляденье пуще доброго прошенья

. Сколько вору ни воровать, а виселицы не миновать. Пришёл незван, поди ж недран

Кутузову повезло. Мастер был дома и чинил *очарованные сущности*. Так образно прозвал он книги по аналогии с «очарованными частицами», добытыми им из телепрограммы про физику.

Частицы бытия, книги суть основа штучной, вещной, человекоприемлемой жизни — так полагал этот мастер оживления сущностей. А книга, ушедшая в цифру, в Интернет, книга из ноутбука, стерилизованная, виртуальная, — подобные достижения человечества он искренне считал достоверными признаками конца. Он говорил о них: безоболочные устройства кустарного пошиба.

Пахло стружками, клеем, долгими историями, трубочным табаком и холостяцкой долей. Лет пятнадцать как его жена ушла, сказав, что в гости. Или в магазин. Он уже не мог припомнить, куда направилась эта ненормальная. Устала, видите ли, от обложек и переплётов. Как можно?!

Таким образом, сегодня встретились два мученика: коллекционер и реставратор. Стареющие мужчины, объединённые бедой любви к оболочным устройствам, очарованным сущностям, ускользающим в невозвратное прошлое человечества.

Любовь к полиграфическим произведениям духа глубоко специфична. Такой любви не знает ни одна женщина — ни к себе, ни от себя. На мерцающие высоты книжной страсти заносит исключительно поэтов и философов, как правило, не реализовавшихся напрямую. Женщина, когда бес этого уровня возьмёт её в оборот, выберет собаку.

Профессор и мастер оболочек умильно и чинно поговорили о погоде, народе, природе, лишь бы не сразу, лишь бы оттянуть волшебное начало. Мастер понимал, что с утра и без предупреждения воспитанный человек может ввалиться только по исключительным причинам.

Когда больную нежно раздели, мастер потемнел. Экземпляр мало того что редкость необычайнейшая. Этот экземпляр ещё и в розыске. Делали проверку в музее известной библиотеки, хватились — нет на месте. Разослали куда могли призывы, угрозы, объективки, оперативки — глухо. Будет вам, профессор, убиваться-то. Покумекаем.

Профессор вспомнил день покупки. Семь лет назад, когда всё человечество хмелело по миллениуму, выговаривая словечко с умилением, ужасом и мечтательностью, Кутузов тоже решил отметить новое тысячелетие. Заказав у букинистов «что-нибудь

интересное», но его поняли, он пошёл погулять и невесть почему обнаружил себя на птичьем рынке.

Раньше такого не бывало: попасть и не знать куда и как. Он вовсе не был до такой степени профессором, чтобы путать ботинки, надевать разные носки, сеять или тырить запонки, — нет, он держал себя в руках, а при выходе из мужской комнаты успевал застегнуться.

Тем не менее на птичий рынок он попал. Перемахнул через полгорода. Как? И вот он топчется среди мяуканья и щебета и не понимает, где у кадра передний план, а где задник. Попугаи нависают, извиваясь, удавы квохчут, крокодилы чирикают. Схватившись, густо беседуют на троих любители пива. Кутузов пошатнулся. Крепко и жалостливо кто-то взял его за локоть и посадил на ящик с какой-то фауной.

Видимо, дело было плохо, поскольку вторым наплывом прямо у глаз и губ своих Кутузов увидел сверкающий крест и вдруг алчно, неловко, себя не помня, поцеловал. И тогда крест, удаляясь, превратился в переплёт, а книга — в царственную Библию.

Как нашатыря принял! Кутузов подскочил и схватился за бесценный кадр.

— Ты чего, мужик, больной? Руками-то обеими... — Голос не отличался ни мелодичностью, ни другими подушками безопасности, однако просветлевший Кутузов мёртво держался за фолиант и не мог наглядеться.

— Сколько?

— Полтинник.

— В каких?

— В любых. Лежала тут неделю, а мы хоть и верим, но у нас больше канарейки да крокодильчики. Такой красавице тут не место... Бери. Вон как тебе помогает! Видать, крепко веришь.

Кутузов не стал объяснять, что именно он-то и есть совсем не верующий, и другим не советует, и всё это выдумки человечьи, но, конечно, красивые, — обычную песню заводить остерёгся. Просто вынул из карманов что нашлось и, обернув подругу чем на рынке котят укутывают, поплыл домой. Единственный раз в своей коллекционерской жизни он так пиратски поступил с превосходным изданием. Единственный грех покупки царь-книги без документов.

Разумеется, в его коллекции и простушки были, рядовые, были барыньки, леди, всё было, но как минимум под кассовым чеком. Эта, царь-книга, была единственная в своём роде, и вот ей-то пришлось жить незаконной, считай, невенчанной, со всем её серебром, эмалями, гравюрами.

...Видя окаменение клиента, мастер сел покурить. Кутузов перевёл покрасневшие

глаза с книги на мастера. Вопрос был очевиден. Ответ задерживался: мастер дымил не спеша, в рассуждении, разглядывая коричневые костистые пальцы.

— Вы же понимаете, — наконец отважился реставратор, — что теперь, даже если я спасу её, вы не сможете с новой правдой легко жить... Она чужая навек. Вы, конечно, и не думали продавать её, однако считали своей. Может, завещали бы сыну... Она теперь не ваша.

— Я понимаю. Это невыносимо.

— И я вас понимаю. Она теперь будто чужая.

— Она действительно чужая. Какой ужас... Она сегодня упала на мою жену, чуть не прибила.

— Но мы с вами, мы оба не в силах видеть её... такой. И как жена?

— Не в силах. Ничего, жива. — И он вкратце передал сцену.

— А если я буду её лечить, ответственность я разделяю с вами. Я про книгу, а не про жену.

— Разделяете. А что будет? С книгой.

— Я думаю: нужна ли мне ответственность? Может, подкинем её в библиотеку? Пусть они возрадуются и вылечат её за государственный счёт. — Пока мастер договаривал эту фразу, Кутузов чуть не задушил его. Мысленно, конечно. Наяву он с удовольствием колесовал бы его с особой жестокостью, поскольку мастер открыл ему глаза, а кто просил открывать.

— Открыли глаза, — машинально повторил Кутузов, и мастер подумал, что перед ним его убийца, пока потенциальный.

— Голубчик, вы даже по улице не сможете с ней идти спокойно. Мало того — книга музейная, два экземпляра на Земле осталось, к тому ещё и Библия. Это же получается кощунство какое-то.

— Да, кощунство, — эхом, Кутузов. — Знаете, я на днях в Интернете нашёл сайт объявлений: продаются иконы, каждая не моложе ста лет, все — «намоленные истинными православными верующими». Ответьте: как они торгуют *этим*? Кто составлял рекламное объявление? Кто и чем измерял, простите, намоленность именно истинными?.. И ведь ничего. Ничего! Торгуют! У них что, при каждой единице сертификат о намоленности, а также об источниках?

— Дорогой профессор, вы хотите сказать, что если все воруют, и нам можно? Какая-то уголовная у вас, простите, этика.

— Извините. Давайте решать наконец! — рассвирепел Кутузов. — Моя не моя, а видеть это невозможно.

— Невозможно, — отозвался мастер.

В разговоре не хватало вектора, Кутузов чувствовал. А, ну конечно, мастер так и не спросил, откуда она у меня вообще. Скажу — купил за полтинник на птичьем рынке, он в морду мне даст. И правильно. Кто поверит в рынок?

— Я купил эту Библию на птичьем рынке за полтинник, — спокойно сказал Кутузов.

Мастер усмехнулся:

— Я тоже так умею. Да ладно, что уж теперь.

— Вы думаете, я её и умыкнул из музея? — с лёгкой печалью спросил Кутузов.

— А я не знаю. Не видел и свечку не держал. Я реставратор. Хотите, всё сделаю, вам отдам, живите как можете. Только потом я вам не помощник.

— Хорошо, я оплачу лечение. Сколько?

— Три тысячи.

— Долларов?

— Евро. Или я зову милицию.

— По рукам.

— И по ногам, — недобро пошутил мастер. — В них, видите, правды нет...

На улице Кутузов пережил ярость и гнев, потом удушье, потом панику, горе и сгорбленность, печаль, грусть и опять ярость. Евроденег у него не было и пока не предвиделось. Некстати вспомнились подушки, обещанные жене. И ещё более некстати вспомнилась сама жена, которая, к её счастью, сейчас была далеко.

Возможно, в прадедах у Кутузова всё-таки были воины, ибо вдруг, прохваченный горькой страстью, он увидел себя со стороны и выпрямился; в позвоночнике упруго зазвенела музыка боя, как зоря, которую протрубили ему лично, и весь облик стареющего профессора стал иным.

Когда распахнулась дверца, он даже не удивился. Аня изумлённо разглядывала давешнюю развалину и не обнаруживала никаких признаков усталости материала.

— Едем? — осторожно спросила девушка.

— Едем. В кино. Что сегодня дают?

— В кино?! — Хорошо, что Аня была мужественная и современная. Другая на её месте могла бы и другие вопросы задать. — Поехали.

Глава 14

Вавила, утирай рыло, проваливай мимо! Один Бог безгрешен. Всякая

неправда грех. Мужик лишь пиво заварил, а уж чёрт с ведром. Бог терпел, да и нам велел

Время юности мы все проводим по-разному, в соответствии с природным запасом терпения. Ни один самый честный литератор на свете не описал юность полно и правильно, поскольку это решительно немыслимое дело.

В юности все модернисты: напряжённый внутренний монолог, абсурдность бытия , непреодолимый разрыв между личной бытийностью и всеми тенденциями социальной жизни. Больно! Если бы в пятом-шестом классах детям вкратце пересказывали Фрейда и Сартра, то школу никто бы не прогуливал, полагая, что эти мальчики — свои люди, ровесники: те же проблемы! И уж после них, в седьмом, дети с удовольствием переходили бы к изучению наконец русских народных сказок по Афанасьеву, а в восьмом классе освобождённый, раскованный молодняк легче бы прощал барышне Лариной Т.Д. её непостижимое поведение.

Но учебные планы по литературе пишут взрослые люди, как-могли-заработавшие себе на личный постмодернизм, вследствие чего учебники, преподающие умственное бессилие Толстого вкупе с наивностью Чехова в виду гордого человека Горького, навсегда отшибают у подросшего щенка желание бороться со своими блохами: если у великих была такая подлая шерсть, мне и подавно можно в луже спать.

Лично мне в школе чудесно повезло с изумительной нашей Чайкиной. Ей было лень говорить и слушать эту чушь про скучающего Онегина, посему добрая женщина задавала на дом только пересказы содержания. Как запомнил, так и расскажи: перчатки Печорина, лошадь Вронского и плечи Анны, муж Татьяны, дети Наташи, мудрость Каратаева, любовь Обломова, сто двадцать восьмой сон Веры Палны и что с этим делать.

Когда очередь подходила к очень толстым книгам, — ясно, не осилят, — она вызывала к доске меня, точно уже ознакомившуюся, и просила рассказать о прочитанном всему классу, пока она пойдёт за журналом, а класс успеет за мной записать. И обрела я свой первый опыт больших публичных выступлений.

Ныне, трудясь в прямом эфире радио, я каждый день благодарю милую Чайку за мою детскую лекционную деятельность. Представьте, куда она меня бросала: соклассники, мои ровесники, должны были каждый раз прощать мне моё существование в означенных формах. А я должна была каждый раз доказывать им, что мой пересказ, например, «Войны и мира» можно использовать в любой практике: писать сочинения, отвечать у доски, просто болтать о нравах и временах.

Теперь я взрослая. Слушатели радио вынуждены каждый день прощать мне то же

самое.

И всё шло хорошо *до* вот этих, ныне описываемых событий, когда началось восстание чего-то вдруг не простивших масс.

Доносы посыпались, аки сухой горох. Личная жизнь и нравы автора и ведущей духовно-нравственных передач. Треск и рокот. *Представители* угрожают руководству: если меня, форменное исчадие, не уберут из эфира, они напишут выше, в Патриархию, бороться-то надо! Перешёптывания в редакции. Взгляды искоса. Наконец — первая кровь: понижение зарплаты. Точнее, так: всем повысили, мне оставили прежнюю. После первого акта диффамации накал чуточку снизился. *Представители* на неделю ослабили эпистолярный узел; наверное, побежали за новой пачкой бумаги.

Сейчас открою вам тайну, которую храню про себя уже более тридцати лет. Никому не говорила. Заветное.

Однажды я пришла в провинциальный Дом пионеров и представилась корреспондентом: надо взять передовое интервью. Работница Дома, не удивившись, дала мне адрес отменной, знаменитой на всю область двенадцатилетней пионерки по фамилии Новрузова, и я на электричке, сама, не спросясь у бабушки, поехала в глухой лес.

Найдя прекрасную пионерку, я, тоже двенадцатилетняя, неслыханно озадачилась: моя ровесница — на голову короче меня. Мы гуляли по дивноароматному лесу, прожужженному сказочными шмелями. Моя собеседница за три часа ни разу не отклонилась от сакраментального: «Очень люблю пионерию и делать добрые дела».

Она была малюсенькая. Всё вздрагивала: поднимет огромные глаза, ужаснётся, какая длинная корреспондентка пожаловала, и сильнее втягивает голову в плечи.

Мне удалось не повредить её всерайонной славе: материал не был написан. Собственно, и не мог он быть ни написан, ни опубликован, поскольку никакая газета меня туда не посылала, а роль себе я выдумала сама. Истинно было одно: состоялся мой первый опыт ни с того ни с сего взяться за человека и поговорить с ним с целью обнародования результатов беседы, то есть классический опыт интервью.

Зачем? Почему меня понесло в лес к пионерке? Я даже мечтать не могла, что когда-нибудь хотя бы одной из моих профессий станет журналистика: я была тяжело больна и мне оставалось недолго. Врачи последовательно выставляли всё новые запреты , особенно на высшее образование, замужество, детей, — на все виды напряжения. Мне следовало ходить по струнке, едва дыша, и молчать.

Сейчас я постигла объём чуда, совершённого для меня маленькой пионеркой. Она со мной поговорила! Она, жестоко страдая от неловкости, всё же побродила со мной по

лесу. Она поверила мне!

Смотрите: ведь приговор медиков меня не устраивал. Может, и поехала я в лес мистифицировать пионерку с одной лишь корыстной целью — выжить? Прикинуться большой, здоровой, вполне себе напрягающейся на самой горячей работе, выпрыгнуть из кожи, только выжить! Да, скорее, так и было. А славная девочка мне помогла. Девочка, если ты меня слышишь, прости за визит и спасибо за веру.

Да, в юности мы все модернисты, абсолютные пожизненные заключённые. Теперь я взрослая, поскольку выжила; болезнь, от которой меня бесславно лечили в детстве-отрочестве правильные медики, была изгнана моими неправильными выдумками, диким рывком воли, приказом гнать поперёк, наперекор. Я сделала всё, что запрещали делать врачи. Спасибо, Господи.

Надеюсь, вы поняли, что при всей моей иронии журналистика, и особенно интервью, для меня дело серьёзное.

Сегодня пришёл новый опус от *представителей*. На простой бумаге наконец. Бюрократические рюшечки номеров и штемпелей отброшены. Прочь. На сей раз всё честно, мне лично: уйдите с нашей любимой радиостанции. Вы отравляете, вы искажаете , вы, вы, вы... И вдруг: ты, девка! Уйди! А то я приеду и расправлюсь, и нас таких много. Мы матери, у нас дети, мы постоим за честь женщин, стариков, священнослужителей, за русский народ... Все прежние депеши были на бланках учреждений. Эта же источала дым и пар домашнего приготовления.

Так-так. У попа была собака...

Главный редактор перестал убеждать меня в *перемелется — мука будет*. Он понял, что перемелют, скорее, меня. Что-то новенькое.

Глава 15

Не потерпев — не спасёшься. Дракой прав не будешь. Не тычь пальцем, наткнёшься. Бояться волков — быть без грибов

Магиандру жилось в принципе лучше, нежели его родителям: он был уверен в тварности человека. Кроме как юностью, уверенность окормлялась эмоциями, получаемыми в храме. Там он был один, и всё было для него, и всё говорило ему, лично. Внутри он растворялся, будто впитывался в лики, стены, музыку. Детскую веру его крепко держала эстетика. Роскошь православного богослужения, длительного, пышного и самого прекрасного на Земле, погружала юношу в невыразимое состояние. Душа чуть уходила от тела, омывалась великим светом и послушно возвращалась на место.

Магиандр жил в радости.

Отец его, понятно, не ходил туда, а мать очень редко. Она по-тихому, дома, в своём углу, помаливалась ради проформы, свято веря, что ходить-то никуда и не надобно , Бог услышит, Он вездесущий. Перекладывать на других было её свойством.

Магиандр привык, что разговаривать о Боге с матерью трудно, а с отцом невозможно. Отец просто вспыхивал и выкидывал коронный номер: «А кто создал Бога? Объясни!», а мать начинала суеверно покрываться мелкими крестиками, так торопясь очиститься от темы, будто любое упоминание — всуе.

Так было раньше, до 18 февраля 2006 года. Настали, спасибо министру, новые времена. Мать швыряется кипящими кастрюльками; отец прогуливает лекции, целыми днями пропадая неизвестно где, жить в доме невыносимо интересно. И всё из-за одной малюсенькой новостишки, что новосибирские учёные чуть ли не приборами, междисциплинарно, солидно доказали: Бог есть. И, как порядочные люди, подали доклад наверх.

Утешаясь, Магиандр уходил в Интернет и задавал бессмысленные поисковые запросы. Почём фунт лиха. Есть ли жизнь на Марсе. Куда идёт король. Зачем вы, девочки, красивых любите. Что делать. Кто виноват. Куда пойти учиться. И даже так: « Храните деньги самолётами Аэрофлота?»

Он уже знал, что у машины всегда найдутся ответы, причём куда более вежливые, чем вопросы. Магиандру было так одиноко, что рука сама написала новое письмо в редакцию. И внезапно подписалась по-человечески: Вася.

«Дорогая, уважаемая госпожа Елена. Я нашёл в Интернете старый анекдот. « Пасха. Идёт Брежнев по коридору. Навстречу Суслов: «Христос воскрес!» — провокационно говорит он. «Спасибо, мне уже доложили», — вежливо отвечает Брежнев».

Отсмеявшись, я взгрустнул: вот и материализация. Вдумайтесь: история из анекдота повторилась, но не фарсом, а драмой. Отцу доложили — он чуть не умер. Мама плачет и ждёт Страшного Суда, не меньше, на днях.

Что это всё значит? Зачем они так волнуются? Учёным из Новосибирска, даже если они доказали министру бытие Божие, предстоит ещё вагон соли скушать, чтобы доказать общественности, что они честно служат истине, а не прогибаются перед попами . У нас полно всякого народу в стране. Позиция неверующих охраняется Конституцией. Чего плакать?

Я понял, каким идиотом казался вам, когда требовал устроить радиопередачу для

папы. Честное слово, я думал: если он так бурно, болезненно реагирует на эфир, то надо просто выдать антиэфир, противоядие. Бодрыми голосами его же студентов чётко заявим за круглым столом, что так и так, Бог есть, христиане молодцы, православие форева.

Потом я понял, что он, приняв лекарственное интервью, не сможет войти в аудиторию и вести занятия с этими самыми студентами. И что 18.02.06 его не министр напугал, а сама вероятность ведения в прессе разговоров на закрытую для него тему. Всё равно что, скажем, вышло бы правительственное постановление: всем бросить ходьбу по полу и немедленно выучиться ходьбе по потолку.

Уважаемая госпожа. Я, Магиандр, беру свои слова обратно, прошу прощения за всякие мистификации, готов служить радиовещанию чем смогу.

Искренне ваш — Магиандр.

Он же Вася Кутузов».

Он поехал в редакцию и передал письмо вахтёру. Повеселел.

Постояв на шумной обочине весёлой улицы, Магиандр порадовался жизни, молодости, приметил изумительно трезвого бомжа и поздоровался. Всё тёмное на миг улетело. Светлое спустилось на душу. Какое захватывающее занятие — разглядывать Москву! Машин очень, неприлично много, а всё равно здорово. И мерседесы разные бывают, подумал он, глядя на хорошенькую двухместную игрушку с блондинкой за рулём.

На пассажирском сиденье Магиандр с невыразимым ужасом разглядел профессора Кутузова, лицо которого сияло чем-то неземным.

Глава 16

По всем суставам, подсуставам, жилкам и поджилкам мороз пробежал. И по дыму знать, что огня нет. Сполох ударил, так подай сюда пожар. День как день, да год не тот

«Я должен её спасти. Я должен её спасти!» — повторял Кутузов, существование которого подчинилось идее. Знаете, что бывает, когда кто-то бессмысленный, живший только буквами, должностью, преподаванием свысока, мерцанием строк, надменностью атеиста, устойчивой половой скукой, незавидным отцовством и прочая, — что бывает с такими вот чуть лысеющими, бесподобно сложными натурами, когда на них накатывает

чувство физического вакуума?

Чтоб ощутить, как это бывает, выполните следующие упражнения. Сядьте на неделю перед телевизором и не вставайте, смотрите всё подряд. Пить, есть и спать запрещается.

На восьмой день поезжайте в Альпы, снимите домик, отоспитесь, выпейте горного молока, поваляйтесь по траве, заберитесь на бело-голубые вершины или рассмотрите их в бинокль, покричите в лесу что на ум пойдёт — стихи, куплеты, можно просто «А-а-а-а!», погладьте швейцарскую корову или козу, если различаете, подышите полной грудью, влюбитесь, наконец, — но никаких пересечений с мировым информационным потоком. Ни на секунду. Всё прочь. И так ещё неделю.

Для закрепления результата вернитесь на родину, погрузитесь в мягкое кресло, возьмите себя в руки, помолчите и ответьте себе на один-единственный вопрос: ну и какого рожна я смотрел телевизор?

Кутузов пятьдесят лет подряд перелистывал каналы одного телевизора: себя. Был счастлив и доволен. В детстве ему нашептали, что новый человек, строитель коммунизма , должен верить только в человека, и это звучит гордо. Детство его было отменно безоблачно: партия и правительство вели себя уже относительно тихо, всё утряслось, война выиграна, целина поднята, каждому по способностям, как и завещал автор « Критики Готской программы». Кутузов принадлежал тому единственному абсолютно беспечному советскому поколению, которому сочно достались плоды всех побед — в удобном виде консервированных учебников. Ни секунды голода, колоссальное пространство, великая культура — всё под рукой. И даже какие-то диссиденты, совершенно серьёзно чем-то недовольные. Позже он догадался чем, но существо их претензий к власти было так близко существу его собственных претензий к бытию в целом, что ревнивый Кутузов как-то даже брезговал думать об этих неспокойных людях.

Он умел найти счастье, например, в энциклопедии: население СССР в 1979 году составило 262 436 227 человек. Для Кутузова точные сведения — музыка. Он мог спеть эти двести шестьдесят два миллиона четыреста тридцать шесть тысяч вплоть до последнего, седьмого, из двухсот двадцати семи. Это же слова! Числительные — особая слабость его: ласковые, строгие, стильные. Он превосходно засыпал, просклоняв девятизначное числительное. Не слонов же вульгарных считать.

Сам лично профессор был *втайне* доволен всем, особенно потому, что его лучший природный дар, тяготение к игре словами, оказался вполне востребован. Даже меленький компромисс в его кандидатской диссертации о синонимии не запятнал его честь, насколько понимал он старомодные понятия.

Посудите: *семья* — семейство, фамилия, дом. «Эти слова, — написал молодой учёный, — объединяются значением «коллектив», состоящий из ближайших родственников — мужа, жены и детей, но расширительно включающий и других родственников. Слова *семья* и *семейство* употребляются почти одинаково, *семейство* — более архаично, чем *семья*. *Фамилия* — архаизм — группа, включающая всех родственников. *Дом* — устарелое слово с этим же значением». Ну что тут такого?

Будучи от рождения *Кутузовым*, он морщился, выводя «*фамилия* — архаизм... *дом* — устарелое», но что поделаешь, чем-то всегда приходится жертвовать. Не так уж и сильно покривил душой, которой всё равно нет. Нету никакой души.

Женившись на второй год после защиты, он обрёл именно то, что нужно вполне свободному исследователю русской словесности: тихий восторг и обожание, светившееся в невидных глазках тощенькой дурнушки, не вызывавшей лирического интереса ни у кого, кроме Кутузова. У девушки была пикантная подробность, несколько лет возбуждавшая молодого специалиста: в минуты супружеской любви жена так широко распахивала глаза, что казалось, они занимают пол-лица. Как ей удавалось? В остальные времена глаз почти не было: две точки. Пошутила природа над этой девушкой , странно и болезненно пошутила. Если бы не Кутузов, ей точно вековать, он был уверен.

Когда единственный эрогенный ресурс выработался, они родили сына, и теперь на молодую мать можно было долго не обращать внимания. Каждый получил что хотел.

Только не подумайте, что Кутузов грезил писательством, ни в коем случае! Все поэты мира были его враги. Прозаики тоже, а драматурги вызывали удушье. Переводчикам он относительно прощал: их ошибки особенно заметны, очевидны, а увлёкшись сравнительным анализом переводов Библии, тут уж он порезвился на славу. Кутузов вообще мог бы, знаете, много порассказать вам про эту книгу. Перепутали Адаму «ребро» с «другой стороной»!

Бедствие накатило, когда никто не захотел слушать именно то, что он хотел бы порассказать. Статьи на библейские темы не публиковались за отсутствием научной потребности, переводами Библии никто не заинтересовался, поскольку верующие воспринимают её текст буквально и как догму, а неверующим это всё безразлично; журнальные редакторы всё чаще про синонимию просили, а особенно про жанры, диффузия которых в конце XX века засмущала ортодоксов чистоты. Словом, вдруг он споткнулся на неожиданном и немыслимом. А мыслить — первейшая обязанность мужского мозга. И Кутузов попытался осмыслить. На чём и погорел.

Роковой шаг: он купил одну потёртую Библию в *дом*. Занёс её в *семейство* своих книг, отчего та часть *фамилии*, что была уже немолодой матерью его сына, очень

широко распахнула глаза *днём* и безо всякого привычного повода. Кутузов почему-то занервничал, увидев эти расширенные зрачки, порозовевшие белки, уйму гусиных лапок. Он промолчал, хотя мог бы спросить; а надо, надо было спросить.

Казалось, после сорока он утратил чувствительность к полутонам жизни, но бурно , в геометрической прогрессии возрастил чувствительность к оттенкам текстов. За всё приходится платить. Хотя точный перевод — нота бене! — иной: ничто не даётся даром.

Потом сынишка, бойко читавший, добрался до полки или взял со стола, не уследили, полистал и — пропал. С той поры Кутузов на все вопросы, включая «Ты помыл руки перед едой?» получал от мальчика библейскую цитату. Однажды отец не выдержал и крепко стукнул сына «за издевательство». От подзатыльника они перешли к военному положению, а мать затихла в тяжёлом нейтралитете.

Глава 17

У всякого Федорки свои отговорки. Утопили щуку, да зубы остались. Что ни дальше, то лучше, а не наплачешься. Пропал, как капустный червь. Хоть матушку репку пой

Магиандру не понравилось, просто не понравилось, что за рулём — блондинка. Всем известно, какие они за рулём.

Но что пассажиром у неё отец и лицо его светится молодостью — потрясло юношу до возмущения.

Подумав о чувствах матери, если она узнает, сын затрепетал и принялся выдумывать превентивные легенды. Удивлённый неподатливостью материала, он не сумел выбрать авторскую позицию, замешкался и откуда-то выхватил адвокатский ход: мало ли почему сумасшедший коллекционер Библий катается на двухместных игрушках с девушками! Может, блондинка владеет особо драгоценным экземпляром и хочет заработать.

Но в доме сейчас мало денег, а в долг отец не покупает. Следовательно, девушка не владеет экземпляром. А лицо Кутузова сияло, как полная луна. Следовательно, он рад: у него никогда не светилось *так*.

Пораскинув, умный добрый мальчик выкинул из головы все неприличные домыслы, чихнув им — досужие! Машинально пошёл в ту сторону, куда понеслась машина. Навстречу шла женщина.

Магиандр не заметил меня, пришлось окликнуть:

— Магиандрик! Опять письмо принёс?

— Да, ой, здравствуйте, там, у вахтёра... я хотел сказать, что не надо. Вот. Ух, как хорошо, что я вас тут встретил. Как вы узнали, что это я?

Не буду же я ребёнку рассказывать, что по голосу вижу брови, доход, образование , семейное положение, а по тексту — рост, вес, цвет, возраст и группу крови.

— Пойдём в кафе, чаю попьём, у меня есть полчаса, — позвала я.

— Пойдём, но у меня...

— У меня есть. Пока не всё отняли.

— А кто?

— Сядем — расскажу. Может, и ты на что сгодишься.

Я рассказала мальчику, что *пришла беда — отворяй ворота*. И мне пишут анонимки на тему *не в свои сани не садись*. И в стране расширяется прослойка блюстителей веры, мирян, возложивших на себя непосильную ношу — всех построить. А начали с меня, недостойной.

— А вы что — атеистка? — один раз перебил меня Магиандр, оторопев.

— Боже сохрани, я даже крещена в тридцать лет. Сознательно, сама, по любви, влечению, убеждению, словом, как надо, так и крещена. Это у них, оголтелых, рудименты чешутся.

Повесть моя о редакционных буднях огорчила ребёнка не на шутку. Он полагал, что в окрестности храма правды все святые. Почему он так полагал!..

— Давайте найдём анонимщиков, — загорелся Магиандр. — Покажем их гнусную сущность, как говорил папа.

— Давай. Заодно развеемся, расшевелимся, а то страшно. Будто гидра ползёт прямо из-под пола, а у меня нет гидрокостюма.

Магиандр улыбнулся, а можно было и посмеяться. Устал. И вдруг, помычав, помотав головой, покусав пальцы, подробно обрисовал положение в семье: горе отца, смятение матери, изувечение драгоценной книги, саднящие воспоминания о новосибирском докладе, общий упадок.

— А что за рудименты у них чешутся? — уточнил он по окончании.

— Тотальное — оно удобное. На миру и смерть красна. Кто не с нами, тот против нас. Цитаты любишь? Ну впитывай: «Вокруг нашей эпохи никогда не исчезнет ореол величия: мы строим коммунизм. В ходе этого великого созидательного процесса формируется новый человек. В нём развиваются и совершенствуются замечательные жизнеутверждающие качества: наслаждение общественно полезным трудом, неутолимая жажда знаний, творчества, сила разума, величие и чистота нравственных свойств,

душевная цельность, чувство прекрасного в жизни, в людях, в искусстве, богатство и утончённость всей духовной культуры»*.

* А.Г. Спиркин. Курс марксистской философии. М.: Мысль, 1964. С. 3.

— Да это же мой папа! — радостно воскликнул Магиандр и тут же поник, мгновенно сообразив, что радоваться особенно нечему. — Он это цитировал.

— Не грусти. Оно во всех советских понемногу, но у кого-то сей пафос уже вызывает законное чувство стыда, поскольку, помимо дурного вкуса, тут выпирает гордыня в чистом и совершенном облике. А у кого-то не вызывает никакого стыда, и чудовищно хочется жить в облаке слов, эмоций, возвышающих тебя не по заслугам, а по имманентности: советский, коммунистический — значит, лучший. Это раньше. Теперь надо искать другое дерево. Нашли.

— Но ведь автор, процитированный, врёт, я чувствую фальшь, я же учу стилистику...

— Разумеется, врёт. Чистота нравственных свойств как жизнеутверждающее качество! Стилистика была хоть куда! Стильная. Чеканка. Живучая, очень живучая... Только бы не я грешный, только бы другие.

— Ой, — вдруг огорчился Магиандр. — А это моя мама...

Я невольно обернулась, но в кафе никого больше не было.

— Вы не поняли, — грустно сказал мальчик. — Её слова, позиция. Я всю жизнь смутно чувствовал, но мама у нас очень молчаливая, однако, знаете, полувзгляд, оговорки, жесты...

— Ладно, Магиандр, давай не будем осуждать родителей, они сами разберутся, а ты лучше скажи, как сам-то дальше? Твои письма горячие, волнуешься ты, понимаю, но как-то надо всё это урегулировать. Мне уже не привыкать: бред и бред. А ты молодой, талантливый, я читала твои басенки.

— Не знаю. Подумаю, почувствую, к батюшке в храм схожу...

Мы расстались почти друзьями. Я побежала на всё ещё любимую работу, а Магиандр пошёл к батюшке, погружённый в тягостные думы. Наверное, о стилистике времён и лексике греховности.

Глава 18

Взяло кота поперёк живота. Не стерпела душа — на простор пошла. От своей тени не уйдёшь. Хлеб за брюхом не ходит

Аня мчала мерсик по Кутузовскому проспекту. Профессор, по жизни

бесстрастный пешеход, любознательно вглядывался в город из подвижного оконного ракурса и ощущал мировоззренческую разницу. Правду говорят: единожды промчался по осевой, с мигалкой на крыше, — всё, другой человек. Кто сел к блондинке в мерседес, тот... но такой приметы пока нет. Или есть?

Промелькнула подворотня, близ которой он провёл первый раунд одаривания прохожей дамы, в день потешного замысла рассовать по людям их любимые ложные ценности, раздать котят в добрые руки. Не даются добрые руки. Своих котят полно...

Теперь, окрылённый духом спасательства своей любимой, он захотел подвига. Возжаждал. Взалкал. Сильно.

Он проникся полумистическим интересом: могут ли эти самовральные двуногие механизмы сложиться полями, высокой волной поднять энергию вековечного заблуждения — и выдать ему человеческое чудо? Пусть откроется форточка, и карлсон осыплет голову коллекционера тремя тысячами евро на реставрацию краденой Библии, умученной на профессоровой кухне пошлой дурой с точечными глазками!

Вихри времени! Мхи, кораллы неизвестного наросли на людях, пока он мирно копал жанры, стилистику, любовался удавом, разбрасывающим буквы. Надо же: вспомнив удава, вмиг увидел его; толстая строка, выползающая из закромов сознания, повиливая бриллиантово-чешуйчатым телом, сладострастная, призывная — возьми, мни, тискай, может, подарю тебе текст, а может — уползу обратно, только меня и видели.

— Брысь... — шепнул удаву Кутузов, но Аня расслышала и сбросила скорость.

— Что? Слишком много кошек?

— Милая водительница! Я навалился на вашу голову со своими собственными кошками, удавами. Не обращайте внимания. Почему вы решили помочь мне?

— Удавами?! Давайте по понятиям: от скуки. Сойдёт? Вам же всё равно — почему.

— Мне ведь всего-навсего нужно три тысячи простых российских евро...

Аня посмеялась над простыми евро, но машину держала крепко.

Спутники мотались по городу, разыскивая «одного знакомого» Ани, у которого точно есть свободные простые, но его видели то там, то сям, и через пару часов знакомый исчерпался.

— Что ещё можно сделать? — озабоченно спросила девушка, притормозив у кафе .

— Перекусить?

— А как с... простыми?

— Ну, на чай-то простой у меня найдётся, из трёх блюд вполне...

— Пошли, — обрадовалась девушка, убедившись, что мужик не совсем пропащий .

Увидев эту парочку, Магиандр покорился судьбе и на всякий случай повернулся спиной, чтоб его не заметили. Он вернулся в это кафе, поговорив со своим духовником, и пребывал в покое. Батюшка убедил его, что скорбями все и спасутся. Магиандр поверил.

Взял компот. Те двое, неловко ухаживая друг за другом, расположились в дальнем углу, заказали комплексный обед и принялись перешёптываться. До слуха сына долетали только мелкие частицы, — досадно. Любопытство пришлось окоротить.

Волнение всё-таки вернулось. Не то чтобы Магиандр опасался за целостность их семьи, глупости не рассматривались, но кольнула сама раскладка: попавший в переплёт отец ищет на стороне.

«А ты? Сам-то что сделал, чтоб у тебя искали поддержки? — печально указал себе сын. — Тебя воспитывали, кормили, ты умничал, как мог, а теперь возревновал, видите ли, что у тебя не спросили, как жить дальше...»

«Но я же хотел помочь! Я и в редакцию написал, я к батюшке ходил! — возмутилась другая сторона. — Я старался, я и сегодня стараюсь, мне страшно за него, книга погибает, мир его рушится...»

«Тебе же сказали: оставь его. Их обоих оставь, родители сами разберутся...»

«Ну как это можно? — выступила собеседница. — Мы же фамилия, семейство, дом...»

«А у каждого свой путь» — успокоила Магиандра философская банальность.

От угла радостно донеслось:

— Мне ещё бабушка говорила: если на вашем пути постоянно возникают непреодолимые препятствия — сойдите! Значит, не ваш путь! — сказала Аня.

«Хорошая у девушки бабушка была». Магиандру понравилась идея, несколько противоречившая его представлению о борьбе и препятствиях, но девушка так звонко, мило и решительно высказала её, что захотелось кинуться на истинный путь, не содержащий непреодолимых препятствий.

Он решил дождаться: пусть они выйдут первыми. Обнаружишься — неловкость неизбежна. Магиандру не хотелось пугать их. Если в лихолетье Бог послал отцу блондинку, значит, пусть отец и спасается этой скорбью. Утончённая мстительность пассажа понравилась автору, потом он опомнился и перекрестился.

Ждать пришлось почти час. Они всё-таки ушли, явно подружившиеся крепче. Трапеза сближает.

Глава 19

Одному с женою радость, другому горе. Муж задурит — половина двора сгорит; а жена задурит — и весь сгорит. Мужнин грех за порогом остаётся, а жена всё домой несёт

Ночь в собственном доме, на своей кровати, но всё другое, радикальная смена караула.

Странное существо, похрипывающее рядом, сопящее узеньким носиком, и глазки-точки закрыты, заперты, кажется — спит она, благоверная. Кто эта женщина-изувер?

Сын тоже сам по себе, за толстыми стенами миражей. Небось опять цитаты проверяет. В целом неплохой парень, хоть и чудовище. Чувствительный он, кажется.

А куда-то отпарковала свой мерседесик блондинка, милая и современная, и спит, обняв, наверное, сибирского кота, как игрушку, и никакие досады не тревожат её радостного сильного сердца. «Хорошая страна попалась, — нечаянно пронеслось в голове Кутузова. — А почему попалась, Аня, ты?..»

И сегодня Кутузов денег не нашёл. При отсутствии друзей это действительно трудновато. Аня опять катала его по городу, названивая очередным знакомым, но их унесло по командировкам, всех. Подозрительное упрямство судьбы.

Время не терзает, всё пока терпит. «Какие странные у Ани волосы — белое золото ! — на миг отвлёкся от несчастий Кутузов. — Никогда таких не видел, никогда». И вдруг уснул, совершенно вымотанный.

Жена, заслышав сонные посвистывания, пробудилась окончательно. Она и не спала, больше прикидывалась. Чувства скребли, жгли, всё на свете чуждо и в голове не умещается.

Всё на свете в прямом значении.

Всё: внешность её, год от года горше пугающая людей. Муж, собирающий Библии, не веря в Бога ни секунды. Сын, отдалившийся в грусти, встревоженный материнской грубостью, криком, швырками, — да он ещё не всё знает. Батюшка в душном храме, куда всего три раза зашла, но мерзости нахваталась на сто. Погодите у меня все вы.

Всё бушует на белом, белом до черноты, белом свете. Одна лишь ты, морщинистое полено, лежишь, не нужная ни мужу, ни сыну. И как ни ходи туда, не меняется мир. Ни по воскресеньям, ни по будням.

Туда — это вообще-то в храм, но женщина запредельно обиделась на храмы.

Обиделась на радостных волосатых батюшек. Обиделась на Бога. *Там* все учат друг друга смирению. Но эталонов, образцов хвалёного смирения нет. Где ваша экспозиция?

Обида — ещё слабо сказано. Женщина обиделась на буквы, потому что из них сложены обидные до слёз слова. Женщина обиделась на слова, потому что ни одно из них не описывает любовь к ней. Женщина не согласна любить этот мир, в котором все только говорят и пишут, и ничего никто не делает, чтобы ей лично, ей персонально хоть на миг стало легче!

Муж опять весь день шастал; хорошо хоть вернулся без покупок. Да и шкаф-то заперт, а бросить новую пришелицу куда попало — муж не допускает вольностей.

Поломанную старуху не привёз обратно, значит, уговорил мастера и будет спать по-человечески, без военных действий. Как надоел он со своей войной. Как надоело всё! Ну ничего. Есть чем утешиться. Утереть им носы.

Глянув опасливо на спящего супруга, женщина выбралась из-под жарко-постылого одеяла, чугунно припарившего её как утюгом, и, набросив старый махровый халат в затяжках и петлях, на цыпочках упорхнула в кухню и накрепко закрыла плотно пригнанную дубовую дверь с латунными цилиндрическими ручками, полированно пылающими золотом.

Вот скажите, отчего рухнула книга? А, не знаете, профессор, муженёк мой дорогой. А я не только варила кофе — я писала заповеди, а принадлежности для сотворения мира у меня там, на высшей полке. Библию вашу, сударь, всю такую важную, туда я поставила, дабы не заметили вы моего канцелярского углового устройства. Там ручка и бумага. И адрес. И конверты. Бланки патриотических организаций, отксеренные с применением бесхитростных технологий: берёшь документ, закрываешь текст бумагой с вырезами, копируешь — вот тебе чистый бланк и даже с номером входа. Подлинник возвращаешь по принадлежности. Тишина, порядок. Главное — порядок и подход. А я умею подойти к патриотам, они жёсткие.

Копируешь десяток, это с избытком, а потом пишешь на них всё. Что тебе угодно! Угодно тебе. Тебе. То есть мне, морщинистому полену, которое больше не может всего этого, мир заполонившего, переварить. Надо взболтать мир. Помилуйте, это не зависть. Зависть примитивна. И не хитрость. Глупость и хитрость — родные сёстры. Устанавливаю гармонию.

И запечатываешь. Как ни странно, лучшее, пряное чувство — при запечатывании письма, хранящего твои свежие мысли. Пока пишешь — трудно: сомнения, повороты, абзацное членение текста — это важно. Муж давно рассказал ей, как умеет он по абзацному членению текста обрисовать незнакомого человека: где у того троюродный

дедушка бабушку встретил и что из этого вытекло. Нельзя резать абзацы по-своему, как если бы писал от себя. Первая заповедь — чтобы тебя не узнали. Перчатки можно и не натягивать. Работать мешают, а проверять всё равно никто там не будет. Никакой же уголовщины нет, и никакого шантажа. Так, просто взволнованные судьбами родины люди собрались и выкладывают наболевшее. Я тебе, сука, покажу, как ангельским голосом, изо всех репродукторов! Левитан, тоже мне.

Тсс. Набросок.

«Уважаемый главный редактор! Во вчерашней программе госпожи Е., — вывела твёрдая рука, — выступал некий профессор. Он даже академик. Под предлогом любви к православию он рассказывал, будто на уроке физики, про действие положительной обратной связи. А также отрицательной обратной связи. Он...»

Женщина призадумалась: не чересчур ли косноязычно? И как-то простецки. Не поверят. Это не уровень. Надо по-другому. Всё-таки надо как-то применить филологические навыки, хоть один раз в четверть века.

Начало точно переделаем. Как муж говорит: представим себе целевого адресата и его фоновые знания. Что содержится в коммуникативном фонде этого человека? Что он любит, что ненавидит? Представили? А теперь напишем первый абзац. Он должен содержать только известные вашему адресату возбудители. Всё в первом абзаце должно быть узнаваемо. Только узнаваемые слова! И тогда он, ваш читатель, с относительной гарантией доживёт с вами до второго абзаца, где уже можно поселить и новые вводные.

Как часто жена слышала всё это, когда муж, даже болея, отсылал студентам новые лекции в записи. Ни один профессор не совершал таковых подвигов: температуря, кашляя, начитывать на диктофон и отсылать в университет очередную порцию высшего образования. Магиандр относил записи в деканат, а там, уже зная несусветную ответственность Кутузова, всякий раз изобретали способы заставить студентов прослушать лекцию в отсутствие профессора. И ведь получалось!

Переосмысляя преамбулу, жена профессора без труда ощутила себя примерной ученицей. В деле порождения текста она доверяла мужу вполне. Вообразила целевого адресата: женщина, перлюстратор по призванию, она горбатится в отделе писем радиостанции. Первый читатель всех посланий в редакцию, сия прислужница правды скопирует письмо и передаст реальному адресату, указанному на конверте, а дубликат отнесёт хозяину, владельцу радиостанции, чтобы все по очереди увидели, как искренне беспокоится народ, не желающий слушать эти бредни впредь. Итак, уважаемый Иван Иванович...

Желая взбодриться, писательница-неофитка поставила на плиту кофейник,

чиркнула, спичка сломалась. Насыпала порошок. Озноб и волнующие предчувствия. Упоительное ощущение: порядок на земле устроить можно! Слово всемогуще! Продолжим.

Какова она, перлюстрирующая женщина? Вряд ли она молода и прекрасна. Значит , пенсионерка, воодушевлённая своей последней полезностью. Боится утратить хорошее место, а может, и надбавки за рвение. Чувствует и любит свою власть над молодыми сотрудниками, имеющими право идти в эфир когда захотят и с кем захотят. Чем они там занимаются, интересно? Вот хорошо бы в студию камеры наблюдения! А чтобы чего не подумали, вывести сигнал в Интернет. Все подумают, что у редакции нет секретов, а на самом деле эти твари, ведущие, не смогут пудрить носики перед лицом православной общественности. Да, она должна быть именно такой.

Поехали. «Здравствуйте, глубокоуважаемый Иван Иванович! Мы регулярно слушаем вашу радиостанцию и очень её любим, доверяем, советуем её друзья и знакомым...»

Так, опять не то. Похоже на лесть. Да и тривиально. Все с этого начинают. Сердце застучало. Не пойдёт. А может, взрыднуть? Прямо в лоб, с ходу, с маху? Не могу-де молчать! Даже дыхание участилось...

Женщина раскраснелась, ощутив невиданный прилив сил и вдохновения не ниже пушкинского. Или боратынского... О! Боратынский. Прикинемся сумасшедшей экзальтированной психичкой, не ведающей, что творит, но как юродивая несущей прямо истину за истиной.

«Нет, обманула вас молва! По-прежнему дышу я вами, — так сказала бы я вам, уважаемый Иван Иванович, о работе вашей радиостанции, но не могу. И надо мной свои права вы не утратили с годами! — это я точно, без лести. Слушаю, слушаю, но есть занозы. Другим курил я фимиам! Но вас носил в святыне сердца! — как сказал поэт. Молился новым образам, но с беспокойством староверца! Иван Иванович! Я не хочу новых образов, я вполне довольна прежними, но избавьте, воля ваша, от вселенской придури! Выступает у вас, довольно регулярно, профессор Ю., он академик, доктор, уважаемый человек, очевидно, а есть ли у него документ о психическом здоровье? Обратная связь! Что может быть проще и понятнее! Но вчера он так её объяснил, да со всей любовью к православию, что у меня дома электричество отключилось! Обратная связь, сказал он, бывает положительная и отрицательная. Если любая страна становится системой с положительной обратной связью, то есть выходной сигнал замыкается на вход и усиливает первичный сигнал, а в переводе на русский язык у государства всё-всё хорошо, — значит, ему очень плохо! Значит, оно как бы раздувается и скоро лопнет. И

приводил примеры. Как вы понимаете, этот удивительный учёный выступал в программе ведущей Е., у которой только и можно узнать что-то невероятное о физике, о системах, да и о православии тоже. Уверена, большинство слушателей так и поняли этого профессора, что чем лучше — тем хуже! Скажите, зачем тогда вы лично, в своих передачах, беспокоитесь об улучшении жизни нашего населения? Зачем президент постоянно говорит о грядущем расцвете нашей любимой Родины? Кому это всё нужно, если приходит умный человек и говорит, что... ну да не буду повторяться. С уважением — Ирина Вартановна. Извините, у меня нерусское отчество, но в душе я вся, насквозь русская».

Придумав эту Вартановну, авторица даже поперхнулась от удовольствия. Голова закружилась, как складно вышло — песня! Симфония братства народов и взаимовыручки христиан различных конфессий. Потрясающе, великолепно, то, что надо...

Глава 20

Подумаю с подушкой, а после спрошусь с женушкой. Жена красавица — безочному радость. На хорошую глядеть хорошо, а с умной жить хорошо. Раз маху дашь — год не справишься

Кутузов проснулся в час быка и замычал, ясно вспомнив, что возлюбленная книга у реставратора, что денег на её лечение не собрано и что сама любовь, купленная на птичьем рынке, — краденая. Восторги дружбы с необыкновенной девушкой-златовлаской не смягчили его горя. Пока угар и день белый, бесплодные гонки по испарившимся друзьям, он забывался. Но час между тремя и четырьмя ночи как нарочно придуман биологией для встречи с истиной в полный рост. Специальное время сердечной усталости, жалобы. Разлад.

В постели чего-то не хватало. Потюкав рукой по простыне, Кутузов отметил отсутствие своей половины. Ну мало ли...

Повертевшись полчаса, он ещё раз потюкал. Без изменений. Пришлось подняться, хотя стремления побродить во тьме он не ощущал.

Налетая на косяки внезапно сузившихся дверных проёмов, он потащился на нитяной контур света в конце коридора. Открыл.

Ярко и тепло было в кухне, резко пахло газом, он закашлялся, оступился и вздрогнул.

На полу, с пожелтевшим лицом, сведённым неистовой гримасой, лежала его собственная жена, сжимая в руке бумажку. Глаза распахнуты как никогда широко, рот

открыт. Кутузов подошёл к плите, выключил газ, открыл окно и сел, не зная, что делают в таких случаях.

В коридоре затопал сын:

— Папа, что так пахнет?

— Мама... — только и выговорил отец. — У неё с детства нюх отшибло. Осложнение после гайморита. Никогда ничего не чувствовала, ничего...

Магиандр кинулся к телефону.

Глава 21

С печали не мрут, а сохнут. От печалей немощи, от немощей смерть. Один день у меня век заел. И на мой припас гроза нашла. Беда поездом ходит. Отпусти душу на покаяние

Говорят: оглушен и раздавлен. Что горе вытворяет с человеком. Он сидит как пень. Столбняк. Чего только не лепят, не зная, что сказать.

Но ещё чаще не знают, как помочь. И совсем плохо умеют утешать. Самое ходовое средство — «ну не надо, успокойся, выпей вот это, жизнь продолжается», — а протягивают воду или водку, перекладывая на невинную влагу лечение многоликой болезни по имени «горе». А послать утешителей подальше не всегда удобно. А те, кто знает правильные слова, — редкость.

С Кутузовым и пытались выделывать строго по списку душевной немощи. Он смущался и отворачивался, очевидно, не слишком воодушевленный продолжением жизни. И на поминках, где не пил даже воды, и у следователя, где не он рассказал, а ему рассказали, и даже в университете, куда умудрился явиться на следующий день после похорон. Буквально: пришёл, помолчал в деканате, помолчал в аудитории, пошёл прочь. Студенты последовали примеру.

Сюжет грязновато, наотмашь осложнился: содержание, так сказать, предсмертной записки, выпростанной из пальцев покойницы, стало известно. Мало, земля слухом полнится, — женщина успела надписать конверт! На радиостанцию за уточнениями зашёл молодой следователь с непримиримым лицом, и образ кухни, превратившейся в газовую камеру для анонимщицы, взбудоражил воображение широкой общественности. Простор! А девятый вал параллелей, аллюзий, тропический ливень догадок!

Я не знаю, о чём беседовал с нашим начальством следователь. Я даже боюсь представить себе лица адептов местной истины, привыкших давать зелёный свет анонимкам и понижать зарплату, отменять эфиры, шепчась по углам, сочувственно

вздыхать и поднимать очи к потолку. В офисе воцарилась неслыханная тишь, будто в отделе писем тоже пустили газ. Может, и пустили какой-нибудь, не ведаю. Подумав, я взяла отпуск.

Стою на Тверской, верчу в руке мобильник и очень сильно хочу позвонить мальчику, оставшемуся без матери, при сумасшедшем отце, а пуще всего — при таланте к сложению слов. Тягостно. Бремя слов. Кутузовым оно вышло невподъём.

Мобильник ожил сам и показал Магиандра:

— Я к вам приеду.

— Я тебя жду. На улице. Пойдём обедать.

— Правда?

— Правда — моя профессия, малыш.

— Посмотрим.

— Имеющий глаза, приветствую тебя.

Глава 22

Смелым Бог владеет, пьяным чёрт качает. Стояньем города не возьмёшь. Худые вести не лежат на месте

— Отец пропал, — поделился новостью Магиандр, когда мы заказали. Забыв сахар на блюдце, он помешивал несладкий чай и взглядывал на меня короткими очередями, будто я знаю тайну.

— Ему нелегко.

— Вы не поняли. Он физически пропал. Его нет второй день. В университете предполагают глухое пьянство вдовствующего профессора, но алкоголь абсолютно не его стихия, все в курсе. Водочная мифология выдержит девять и сорок дней, подмену ему поставили, учебный процесс продолжается. Но его дома нет!

— Может, блондинка?

— Я же видел её. Восторженный ребёнок на двухместном мерседесике. Она не по этому делу. У неё в голове одни мудрые мысли, бабушка, дед-мороз... Даже если он бывает у блондинки, то там скорее всего играют в ладушки. Или гербарий перелистывают.

— Откуда в твои годы?..

— Я же талант, — наконец улыбнулся он. — Слова, слова... На них всё висит, любое знание, любое чувство, вы же знаете. Мне не обязательно целовать девушку, чтоб узнать, какие книги она читала. Так и с этой блондинкой. Редкий тип, но, возможно,

возрождающийся. Я бы сказал, она классная.

— Успокоил, конечно. А что ты думаешь делать? Как искать будем? Объявление дадим?

— Ценю ваш светлый юмор. А ещё лучше — прямо по вашему радио. На радость современникам! Вас ещё не уволили?

— Я в отпуске. Проветриться надо.

— Жаль. Что в отпуске, жаль. Вам бы сейчас на просторе, в отсутствие анонимного внимания к вашему творчеству, забабахать такие передачи можно было!..

— Магиандрик. Мы с тобой теперь так повязаны, что лучше бы *так* не шутить. Она была. Она твоя мать. И мы понятия не имеем, почему она это делала.

— Не обманывайте! — вскрикнул сын. — Вы всё прекрасно понимаете. Вы столько лет возитесь со словами, людьми, чувствами — ясно же...

Он удержал наплывшие слёзы, сглотнул, покашлял, чтобы выглядело натурально. У меня душа рвалась, и погладить его хотелось, но гордый ребёнок боролся сам.

— Представляете... воровать по конторам бланки... делать копии, десятками, а у нас дома нет копира, значит, делать это где-то, страшась быть рассекреченной... И не в уличном киоске, понятно же. Учиться разным почеркам, измышлять различные человеческие стили, хоть она и филолог по образованию, но... Следить за абзацным членением... Отец ещё в молодости просто затерзал её этим абзацным... Как, собственно, и меня. А я учил это членение на Библии! О-о-о... — К счастью, Магиандр заплакал по-настоящему, не скрываясь и не щадя моих ушей.

Через полчаса, обсохнув после умывания под холодным краном, юноша сказал:

— Говорите. Что вы чувствуете? Что думаете?

— Я думаю, он, не желая травмировать сына, ищет деньги на починку своей возлюбленной книги. Возможно, с помощью блондинки, но вряд ли. Я полагаю, он что-то придумывает сам. Теперь ты.

— Я думаю, он ищет деньги *любым способом*. Вы.

— Я тоже думаю так. Определи, пожалуйста, любой способ по Кутузову-старшему . Ты.

— Любой способ есть любой способ. Он же оголтелый. Он уверен, что цель оправдывает средства. Он материалист, атеист, а в прошлом, как вы своевременно просветили меня, новый советский человек. Он гордец, но латентный, он способен уважать права человека, пока не нарушены его принципы. Вы.

— Уважать до принципов готов любой дурак. Он ведь не дурак? Ты.

— Нет, конечно. Не дурак. Он умный. Он умеет быть хитрым. Только извлечь из

него чувства и коммуникативные навыки можно только экстримом. Вы.

— Экстрима в избытке. Ему все поверили, что жена... сама, случайно?..

— Кажется, все. Боже мой!.. Неужели вы думаете, он скрывается от невысказанных подозрений в доведении до самоубийства? Ну какое там подозрение! Ведь это действительно классический несчастный случай! Если бы мать не страдала бесчутием, она уловила бы, что не включила огонь, а только повернула рукоятку плиты... Ну почему плита у нас не электрическая!..

— Почему, почему... Ну и до чего мы додумались, шерлоки холмсы?

— До *любым способом*, — печально заключил сын. — Отец сейчас способен выкинуть всё. Включая меня. Давайте мороженое.

Глава 23

Умел найти — умей и потерять. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Отыди от зла и сотвори благо. И на милость разум нужен

«Сын, я временно покидаю этот город. Деньги для тебя, небольшие, на столе в кабинете. На некоторое время должно хватить, будь бережлив, пожалуйста. Несчастье, постигшее нас обоих, а ещё более — ряд ужасных бедствий, обрушившихся на меня одного, совершили некоторое повреждение в том утомительно чувствительном механизме, который отвечает во мне за способность общения с себе подобными. Внятно рассуждая и отчётливо понимая это, я принял решение, о котором пока не могу сказать тебе ничего конкретного, это моё дело, никак не касающееся тебя, и поэтому прошу меня простить и не судить строго. Ты уже взрослый и замечательно можешь пожить один хотя бы то неопределённое время, пока я решу стоящие передо мной задачи. Любящий тебя отец».

Записка лежала на столе в роковой кухне. Магиандр прочитал пять раз и с унынием понял: его лихое эссе, которое *не-эссе*, как заметил на семинаре его отец и учитель, про великолепную красавицу с аристократической спиной, генеральную возлюбленную Кутузова-старшего, а именно его *Я*, — блестящее *совсем не то* живёт и побеждает. И некому выгнать беса, торжествующего над профессоровой душой.

Сын потащился в кабинет поглядеть на *небольшие деньги*, мимоходом удивляясь, почему они положены отдельно от записки.

Зрелище было захватывающим.

Уважаемый член семьи, сероватый кардинал, центр их вселенной, дубовый монстр, годами глотавший Библии, совершенно был пуст. Надёжная дверь, ключ от

которой огорчительно потерялся в начале событий, была взломана топором, валявшимся тут же красноречиво. Откуда взялся этот варварский предмет, юноша не мог представить — и какая разница. Поражало другое: как мог вытащить необъятную груду книг один худощавый человек, у которого нет мускулистых братьев. Вызов специально обученных такелажников тоже был маловероятен, поскольку над каждым экземпляром профессор трясся немыслимо и никому не доверил бы перенос бесценного груза даже с полки на полку, даже в перчатках и на цыпочках.

Оставалось предположить: он всё содеял сам. Автопохищение с автопогрузкой. Известно, сумасшедшие в минуту кризиса бывают необычайно сильны и даже расчётливы. Представить, что за какие-то два-три часа, пока Магиандр гулял и беседовал в кафе с журналисткой, отец нашёлся, точнёхонько в отсутствие сына, раздобыл упаковку, собрал пожитки, написал деловитую балладу об эгоизме, выложил деньги, небольшие, уехал и надёжно спрятался, — такое напряжение фантазии даже Магиандру было не по силам.

Он пощупал вырубленную дверцу, недоверчиво пошарил по явно пустым полкам — ничего, ни листочка, чисто. Ещё раз перечитав записку, нашёл крохотную стилистическую подсказку: «внятно рассуждая». Внятно — для кого? Может, всё-таки был помощник? Блондинка? Неужели она заходила в наш дом? Это на секунду резануло Магиандра, потом отпустило. Даже если заходила, что — помогала грузить? Да мотылёк она, ручки стебельковые, теловычитание сплошное! И уж она точно не сумасшедшая, и никакой кризис не помог бы ей оторвать эту кучу бумаги от полок!

Он плюхнулся на стул и зашёлся хохотом, как в истерике. Воображение показало мистическое кино — с улетающими в окно Библиями. Машут обложками печально и сами летят на юг. Точнее, на Ближний Восток. А враждующие стороны, завидев их журавлиный клин, подставляют небу измученные войной лица, но сыплется на них, будто манна, пыль кутузовской библиотеки.

С усилием оборвав себя, он вскочил и пошёл в свою комнату — единственную, где в относительной безопасности жили его любимые иконы. В остальных помещениях дома отец категорически запрещал держать мракобесие. Теперь — можно всё. Да, папа?

Обнаружив себя в чёрном, глухом, беспросветном одиночестве, Магиандр долго-долго молился, с упованием и сокрушением сердца, молился так жарко, что лившиеся ручьями слёзы подсыхали по дороге, а на их солоноватые белые русла накатывали новые потоки, стягивая, пощипывая бесчувственные щёки.

Глава 24

На этот товар всегда запрос. Жемчуг гарнцами мерят. Не деньги нас наживали, а мы деньги нажили. От избытка и старец келью строит. Денежка — молитва, что острая бритва

Дача состояла из двух домов, трёх оранжерей, двух летних мангалов, банного комплекса с бассейном, курятника, фазанятника, страусятника, двух конюшен, десятка фонтанов, павлинятника, псарни, овчарни, свинарника, теннисного корта, каруселей с качелями, картинной галереи, леса, поля, террас и горизонта, терренкуров и детской площадки для картинга. Домики персонала были поодаль, примерно в двухстах метрах. Намечалось и гольф-поле, но возражали соседи, трогательно держась за свой старый сарай. Ну и ладно, не будет никакого гольфа.

Аня свободно перемещалась по родительской даче пешком и на электрокаре, а Кутузову хотелось попросить у девочки карту, компас и бинокль.

— А как ты получилась нормальной? После всего... — поинтересовался Кутузов, впервые в жизни завтракая в столовой с натуральным камином, дровами, шкурами, рогами. Самовар, серебро и дерево тоже были аутентичные.

Ночь он провёл в маленькой уютной спальне под крышей, выспался, отогрелся. Аскетичная обстановка комнаты, глубокая тишина, невесомый воздух, свежий свет, утром вежливо просунувший несколько презентационных лучей сквозь толстые синие гардины с тонкой золотистой окантовкой, — всё утешало, примиряло и оживляло. Аня грамотно выбрала комнату истерзанному гостю.

— Я не *после*. Я — до. Сначала родили меня, на Алтае, потом жили в Москве, в коммуналке, до приватизации жилья. Помню нашу громадину-коммуналку: в коридоре я училась кататься на велосипеде. Потом все мы работали над собой. Купили домик, участок, и разрослось. И представь, абсолютно законно: каждая травинка, копейка, даже свинячья щетинка. Видел, как уморительно чешется рыженький хрячок? — Аня рассмеялась искренне, приятно, по-детски восторгаясь.

Полуторамесячную густоволосатую хрюшечку мужеска пола вчера демонстрировали профессору изо всех ракурсов, умягчая привыкание к условиям.

— Хрячок? Да, настоящее породистое свинство.

— Как хорошо! — восклицала Аня, подливая и подкладывая гостю. Прислугу она попросила не показываться.

— Почему же у тебя нет денег? — бесцеремонно спросил Кутузов, припомнив мучительную гонку по Москве с пустячной поисковой операцией. — Я сыну оставил всё, но и была-то мелочь. А у тебя совсем нет.

— У меня их... невозможно потратить за одну жизнь. Я ещё не достигла двадцати одного года, а все мои деньги живут за горизонтом, где возраст — непременное условие обладания наличностью.

— Разве?.. — усомнился Кутузов. — А если серьёзно?

— А если серьёзно, то у нас на даче коммунизм. Денег нет, проблем нет, потребности удовлетворены. Папа мечтал пожить при коммунизме. Живём. Ферштейн?

— Не очень. А как ты живёшь одна? У тебя что, везде по городу и миру няньки рассованы, и у них вечно кипит в котелке? Вдруг Аня заскочит на вкусненькое? — Кутузов по советской привычке похамливал богатству.

— У меня повар и карточка. Во всех магазинах и ресторанах я плачу картой. А где не принимают карты, туда не хожу я. Папа управляет моим счётом, не знаю как, чтобы я не могла просто снять наличные, а только на покупки, только через официальную кассу. Он ужасно законопослушный. Он всё время перед кем-то отчитывается, что у него белые деньги...

— Я думал, зелёные, — усмехнулся Кутузов.

— Зелёных у него сколько хочешь. Белые — в смысле чистые. Не чёрные. Твоя острота на троечку. Если бы он был сейчас в России, мы с тобой попросили бы у него для тебя, он дал бы, наверное.

— Бы. Наверное. А когда он вернётся в Россию? — улыбнулся Кутузов, машинально регистрируя логические и стилистические провисания в её речи. Собственно, так он слушал всегда и всех.

— Понимаешь, есть ещё мама.

— Понимаю, — самоуверенно сказал Кутузов. — Мы пойдём смотреть мои сокровища?

— О, прости! — Девушка позвонила, посуда исчезла. — Пойдём в библиотеку.

— И такое тут есть? — простодушно удивился Кутузов.

— Слушай! — наконец взъярилась Аня. — Ты хоть разок спросил, чем в этой жизни занимаюсь лично я?

— Извини. Не спросил. А сейчас ещё можно?..

— Можно. Я переводчик экстра-класса. Устно и письменно. С четырёх языков на три. С Востока на Запад и обратно. У меня уже есть высшее образование. Вундеркинд. Работаю с четырнадцати лет. Индиго. Какие слова ты ещё знаешь? Мой мерсик — именно мой! Я же тебе говорила. Показала его папе, когда *уже* купила, а до того я сама научилась водить, получила права, потом купила очень много часов индивидуальных тренировок. Очевидно, всё было для одной великой цели: научиться тормозить. И

притормозить возле тебя.

— Извини. Сюжет... не вписывается в парадигму. Я привык видеть иных, студентов, они твои ровесники. Мой сын, кажется, тоже твой ровесник. Тебе сколько годиков?

— Двадцатый понёсся. Вскачь. Сам видишь.

— Ваське тоже. Так же. Слушай, ты удивительная! Но если у тебя были наличные, чтобы купить машину, почему сейчас нет? Ты всё папе отдаёшь?

— Точно. Ты тоже удивительный. У меня всё, вообще всё на карточках именно после покупки мерсика. Папа слегка струхнул, когда понял, с кем связался, и создал специально для меня, так сказать, карточную систему. А оттуда — только на безналичные платежи. Я кажусь ему опрометчиво самостоятельной. Пошли, мыслитель. У меня сейчас вправду нет евро для твоего шантажиста.

— Хорошо, но странно, — заметил Кутузов, испытывая замешательство, любопытство и азарт.

Описание библиотеки мы пока отложим, поскольку в данном случае был бы уместен генеральный каталог.

В центре, на деревянном журнальном столике величиной с футбольное поле, высилась аккуратная пирамида из Библий, сложенная заботливыми руками местного библиотекаря.

Кутузов ахнул, застыл, схватил Аню за руку.

Вчера, получив имущество, привезённое на прицепе, пожилой библиограф перепугался, перекрестился, но взял себя в руки и всю ночь, постанывая от блаженства, разбирал сакраментальные богатства. Утром пришла великолепная волна чувства: полное оправдание любви. Можно, разумеется, любить и человека; библиограф допускал человека, довольно шаткую гипотезу, — но всегда чуял недостаточность самоигральных мотивов для столь предметной любви. Маловато. При *человеке* всегда надлежит поискать вокруг.

Дивной ночью призрачно, из подкорешковой пыли, касанием тугого ветра веков, от подмигивания нежной виньетки — в голове библиографа пробился туннельный ход к истине, руша пустую породу иллюзий, любовные страхи, открывая пути. В разломы ворвался счастливый шквал озарений, и библиограф наконец презрел насмешки. Да, я — книжный червь! И рад этому до безумия. Не стоит иронизировать.

Он обрёл ясность и понял себя, он прожил самую счастливую ночь, перебирая живые книги. Они сами уложились в пирамиду классической четырёхгранной формы наподобие Великой.

Пережить сотворение Библиотеки, ослепительную простоту пламенного жеста: « Библио» — «тека». Он достиг вершины.

Узрев чудо, Кутузов сначала ощутил судорогу дикой ревности к врагу, коснувшемуся его возлюбленных, но быстро воспрянул и бесстрашно принял шквал энергии, разливанно лучившейся окрест от пирамиды. Она впитала полноту любви библиографа, и мир, и все слова, и все пирамиды Земли. Сердце профессора затрепетало, заколотилось, — необычные, лихорадящие ощущения.

— Превосходно сделано, — сумел сказать он.

Коллекция выглядела как никогда законченной. Произведение иного искусства.

— Рада, что тебе нравится.

— Я не привык видеть её такой... голой, — сказал он невпопад.

— Ну не могли же мы захватить с собой твою дубовую шкатулку! — рассмеялась Аня, вспомнив, как орудовала топором, вскрывая упорную дверцу, а Кутузов сидел рядом, еле дыша, и старался не жмуриться. Зато когда открылось, он восстал и неведомо как переложил всё собрание в коробки. Ничего не напутал, ни пылинки не забыл. Словом, молодцы оба.

— Я не могу, когда нету дверцы, — вдруг заскулил коллекционер, возвращаясь в человеческое, простое, крохоборское.

Терпеливая хозяйка позвонила, указала, и через пять минут аккуратная ширма окружила столик с пирамидой прозрачным частоколом.

— Натянуть крышу и выбрать парадный вход. Прошу!

— О, вот там я и буду жить! — воскликнул Кутузов. — Пусть мою постель положат рядом с книгами, на *столик*.

Глазомер обещал свободное поселение у подножия сооружения ещё минимум пятерых.

— Не жёстко будет? — заботливо спросила девушка. — Вчерашняя спальня тоже неплоха, по-моему.

— Ну есть же на свете перины, матрасы надувные, мешки спальные. Пожалуйста! Мне будет спокойнее. Аня!

— Мешки на свете, конечно, есть, но ты откуда знаешь?

— Читал.

— Надо же, и я читала. Значит, их сейчас и принесут.

— Слушай, вот бы так всегда: о чём ни прочитаешь — тебе уже несут.

— Так постоянно, так — везде, ты не замечал? Жизнь — тотальный вербальный ресторан. Меню — космическое. Дело только в размере чаевых, — простодушно

уточнила Аня. — А уж если написать это, талантливо написать, — всё. Труба. Не отвертишься. Принесут и привезут, и даже без разрешения.

— А это ты откуда знаешь?

— Читала.

Глава 25

Силен бес и горами качает. Бог любит праведника, а чёрт — ябедника. Фимиамы от мук не избавят. Что запасёшь, то с собой и понесёшь. Что грешно, то и смешно

Я не склонна к унынию, — это смертный грех, как утверждают конфессионально зрелые граждане, а незрелые порой вторят им.

Ходить по Москве люблю до слёз, только бывает это редко да перебежками, от одной карьеры до другой. Хорошо, что мои карьеры близко расположены. Покинув один карьер, могу за пятнадцать минут успеть на другой карьер. Генеральша непесчаных карьеров.

Радио «Патриот», отпустившее меня погулять после бури, было тогда моей страстью. Уникальное, невозможное в рыночной парадигме: скудными выразительными средствами оно собирало большую реальную аудиторию, ухитряясь даже не думать над целевой. Убогими заставками, уморительными отбивками, допотопной музыкой, картонно-медлительными голосами ведущих, эклектичной тематикой — это СМИ нарушало все каноны современной журналистики, но его слушали взахлёб. Видимо, время пришло.

Раздолье: выбор тематики, гостей, жанров делали авторы, они же ведущие. Главный редактор не требовал квартальных планов, директорша почти не лезла в творческие механизмы. Владелец даже не здоровался. Звонки слушателей не подвергались отсеву. Профессиональное — фантастичное.

По весьма, согласитесь, уважительной причине — свобода творчества! — я держалась за эфир, как плющ за бедное дерево жизни.

Но с того часа, как я увидела госпожу Кутузову, покоя не стало. Визит её как таковой не был уникальным: сюда заходят и пишут регулярно. Первое требование, о торговле записями программ, тоже было репертуарным. Но вот её аргумент — почему я, почему ко мне пришла? — обязан был насторожить. Ангельский голос. Вам верят, что бы вы ни говорили, заявила мне дама во вторую встречу, прижимая к сердцу мощную антикварную Библию с эмалями на первой доске.

Не смекнула я, не приняла вызова, не заметила оскорбления. Прохлопала ушами, красиво отягощёнными её лапшой. Выставила даму за ворота, не разобравшись. И она взяла перо. Теперь её сын сирота.

Но: что я могла сделать? Ведь очень многие слушатели воспринимают радиоимперию как единое целое, управляемое из некоего мудрого центра. Некоторые уверены, что, позвонив на одну станцию, автоматически общаются со всеми остальными . Сколько раз у меня спрашивали: а вы знаете Петрова? Иванова? Ну как же, он давно работает на радио. Не слушали? Ну что вы, он такой хороший.

Многие видят всех журналистов бредущими по одному коридору и регулярно обедающими в общей столовой. Никак нельзя осуждать любителей радио за эту иллюзию . Вот же он, приёмничек! Волны-то рядом. Чуть покрути рукоятку настройки — соседняя станция бубнит. Да что рукоятка! Даже цифровые окошки новейших приёмников не убеждают условного потребителя, что станции разные, а редакции могут находиться в тысяче километров друг от друга. Телевидению в этом смысле почему-то легче.

Иду по Москве, кругом весна кипит, но чую заразу, горечь воздуха чую. Вы знаете , нынешний век будет жесточе былых. Вы готовы? Не понимаете? Нет, нет, сдирать шкуру с человека будут не каждый день, не без наркоза и не без массовой пропаганды. Наоборот, ему нежно сотворят новую, толстую, кожу и назовут её информационным телом. Покров будет плотным и душным, — ватно-вакуумный скафандр, не вырвешься, а рванёшься — оставишь ему всё мясо.

Надтреснутая любовь моя к родине, успокойся ты. Разговаривать можно с каждым, а поговорить бывает и не с кем. Это не я первая поняла. Ну а ты поговори с вечностью, успокаивают меня поэты, которые всё гуще водятся в наших железных лесах. Откуда что берётся! Вот удивительная страна Россия! Поэты не берут подсвеченные ванны с добавлением шампанского и розовых лепестков. А гламурщики, берущие указанные ванны? Каков он, образ их вечности?

Кучевое облако стоит над моим городом, и птицы летят. У которых не сбита навигация. Вы знаете, что многие птицы дезориентированы? Мы испускаем волны, засорили весь эфир, и птицы сошли с ума. Мы — это все мы, хотя некоторые думают, что только некоторые. «Мы полагаем, что строительство собственной резиденции — очень значимый этап в вашей жизни, начало вашего родового гнезда... Работаем с самыми взыскательными заказчиками, отличающимися собственными взглядами на жизнь и дизайн». Реклама фирмы, которая строит дорогим россиянам «роскошную недвижимость на заказ в любой точке Европы — где бы вы ни пожелали». А если я пожелаю в Венсенском лесу? В Вестминстерском аббатстве — слабо?

А остальные по старинке ждут грачей, и — Боже мой, прекрасно, — люди ещё ждут грачей! Мои мысли о птицах — как столбы пыли над Сахарой. Не уложить их, не успокоить, я плачу от счастья.

Люди рвутся воевать. Я вижу мир через радиоволны, а ты — через оптический прицел. Я вижу страсти, выворачивающие людям геном, как суставы гранатой, — он перестаёт быть волновым. Вы знаете, что геном — волновой? Был.

Молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты поёт, пока молода, а поёт и молода она очень долго, она вполне вечна, знаете? Её можно заткнуть: сделайте нерождённому ультразвуковое исследование, вам же любопытно — кто там? И музыка древней молекулы глохнет навек, превращаясь в занудный, бессмысленный вой типа сигнализации. А потом оно, человекоподобное, родится, а музыки в клетке нет. Факт.

Я догадываюсь, что воевать наркотично. Наркомания войны не поддаётся лечению. Может, объявить табу на войну? Сейчас я это сделаю. Вот, пожалуйста, делаю. Табу на войну. Табу. Нет, не получается. Падает вертолёт. Продолжаем обмен мнениями.

Ополоумевшие птицы. Обезголошенная ДНК. Всё возможно в обстановке, где силовые линии райских полей завязаны мёртвой петлей. Люди постарались, туго завязали.

Глава 26

На словах-то он города берёт. Сердце сердцу весть подаёт. У моря горе, у любви вдвое. Когда меня любишь, и мою собачку люби. Как телята — где сойдутся, там и лижутся

— Давай разбираться. — Профессор надеялся поверить, что Аня — действительность. Трудно.

Друзья пили чай в библиотеке. Уют плюша и кожи. Чистый воздух можно резать ломтиками.

Пирамида из коллекционных Библий высится на громадине журнального стола, окруженная ширмой-частоколом.

Профессор озадаченно любовался композицией: он не привык получать желаемое быстро, полно и безопасно.

— Выговори мне, предо мной всё, что у тебя накипело, — сказала мужественная девочка, тряхнув золотой головой.

— У меня полвека накипало. Всё успеть до ужина?

— Мы будем говорить и говорить, и сверять мысли. До ужина или до утра,

останемся без обеда или будем питаться неотрывно, чтобы хотеть спать, но мне важен этот разговор. Ты должен мне поверить. Хотя, если я что-то понимаю в людях, втайне ты ненавидишь слово «должен».

— Умница. Откуда такие мозги берутся? Ты в какой школе училась?

— Специализированной. С углублённым изучением всего на свете. Мы даже Библию кусками заучивали на трёх языках.

— Родная душа... — усмехнулся Кутузов. — И что тебе запомнилось? Что пропоёшь не раздумывая? Из самого сердца?

— Минуточку! Уточни: из памяти головы или из глубин сердца, выражаясь штильно?

— Ух, какое слово! Высокий штиль. Штильно! Ты *чудо*! А у меня дома осталось ещё одно...

— ...которое ты всю дорогу считал *чудовищем*. Твои слова.

— Знаешь... невзначай вышло. Старая история с иностранными студентами. Приехали в Россию по обмену, старательно учат язык. Я по молодости подхалтуривал: русский для нерусских. Начали морфемы. Слон — слонище. Рука — ручища. Выучили? Йес, говорят, дорогой профессор. Вы — чудовище. Я потом уразумел: научил их суффиксу — *ищ*, а они влюбленно поблагодарили меня за науку. Раз чудо — значит, *чудовище*, большое чудо... Нечувствительность к оттенкам и деталям. В новом веке у нашенских, родненьких, увы, обесчутевших, аки туземцы, она буйно проросла.

— А-а-а...

— Надумала, умная голова специализированная?

— Йес, дорогой профессор. «И открыть всем, в чём *состоит* домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге...»*.

* Послание к Ефесянам, 3:9.

— Вот это школа! — возвеселился Кутузов. — Ай да школы у нас пошли! И что — открыли вам тайну, прямо в школе?

— И не подумаю на тебя обижаться. Ты лучше как-нибудь ответь. У тебя есть любимый писатель, на которого ты вот так же готов сослаться в единый миг?

— Есть. Дарвин. Превосходный писатель. Люблю!

— Да что ты говоришь? Ну-с, тогда как в рекламе: любишь — докажи! — И Аня кокетливо протянула руку лодочкой, будто прося подаяния. Точь-в-точь как на известном плакате двусмысленная девица, алчущая ювелирки.

Безумная, безукоризненная, феноменально переполненная память Кутузова поднялась, будто в атаку, — хотя с кем сражаться? — но девочка попала в самое

чувствительное место, где хранились неотвеченные вопросы.

— «Ложные факты крайне вредны для успеха науки, потому что они иногда удерживаются очень долго; но ошибочные воззрения, поддерживаемые известным числом фактических доказательств, приносят мало вреда, потому что каждый находит полезное удовольствие доказывать их ложность; а когда последнее сделано, одна из дорог к заблуждению бывает закрыта, и иногда вместе с тем открывается путь к истине »*. Видишь, как выражается человек? Он смело приветствует ошибку! Не боится, даже поощряет её.

* Здесь и далее автор цитирует труды Ч. Дарвина по собранию сочинений 1908 г.

Аня приняла вызов. Отступать некуда и поздно: её уличная находка, инопланетный тип, оборвавший свои связи, уже поселился в её доме, и его пирамида построена. Находка сделана — знак судьбы принят. Аня мыслила знаками.

— Ты учёный, и ты уверен, что путь к истине открыт учёным. Ты познаёшь, и посему ты хороший, правильно? Интересно, как твой любимый писатель отличал ошибочное воззрение от ложного? Точнее, как быстро? Что-то он выражается двусмысленно, хоть и красиво. В моей памяти другие формулы: «Много имею говорить и судить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру»**. Он и есть истина. Любишь истину?

** Евангелие от Иоанна, 8:26.

— Только доказанную. Научно.

— А человека?

— Не вижу новых причин. Мой писатель, горячо любивший человека, определился со своей любовью очень изящно: «Главное заключение, к которому приводит настоящее сочинение и которое разделяют теперь многие естествоиспытатели, вполне способные составить себе здравое суждение, состоит в том, что человек произошёл от какой-нибудь ниже организованной формы». И всё. Тот, кто произошёл от какой-нибудь низшей формы, сохраняет родовые черты вечно. За что мне любить амёбу, обросшую волосами, ногтями, моралью, телефонами?.. Хвостик-то остался!

— Да, ужас. Амёба с мобильником... Меня тоже больше устраивает: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Бытие, 1:27). Почему тебе не подходит высшая форма? Почему радостнее происходить «от какой-нибудь ниже организованной»?

— Ты сказала — тоже? Я не говорил ничего, к чему ты — *тоже*. Я житель цивилизованного мира: «Тот, кто не смотрит, подобно дикарю, на явление природы как на нечто бессвязное, не может думать, чтобы человек был плодом отдельного акта

творения». Я не смотрю, подобно дикарю...

— ...бессвязная фраза. Подумай, что сказал твой Дарвин: я не дикарь, поэтому я не могу верить в творение. Получается, творчество вообще — дикость? На нашей же стороне — Поэзия. Прекрасный замысел: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Бытие, 1:28). Полнота этого творчества максимально удалена от всякой дикости.

Для убедительности Аня, прихватив чашку, пересела в самый дальний угол библиотеки.

— Дарвин поэт, именно поэт, — возразил Кутузов. — Очень мудро и даже с юмором он комментирует и сей акт, и его следствия: «Человек изучает с величайшей заботливостью свойства и родословную своих лошадей, рогатого скота и собак, прежде чем соединить их в пары; но когда дело касается его собственного брака, он редко или никогда не выказывает подобной осмотрительности. Он руководится приблизительно теми же побуждениями, как и низшие животные, оставленные на собственный произвол, хотя он настолько выше их, что придаёт огромное значение умственным и нравственным достоинствам». Оставленные на собственный произвол! Я чувствую, Аня, чувствую брошенность!.. Какое проклятие!..

Оставленность на произвол всю жизнь угнетала Кутузова, и он учил уроки силы, гордился преодолением ужаса — и гнал от себя выводы, когда вновь не получалось обрести смысл в оставленности.

— Понимаю, профессор. По вопросу произвола нет разночтений: «И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве своём, и будешь есть прах во все дни жизни твоей»*.

* Бытие, 3:14.

— Вот это мне и не нравится, девочка! — Кутузов развёл руками. — Всю жизнь я восставал против... Чувствовать себя змеем, за компанию со змеем, — унизительно. Книга Бытия унизила нас и навсегда. Мы теперь наихудшие рабы. Дарвин, кстати, мучительно переживал это рабство, зависимость от прогресса, принуждённость.

— Прогресс, — заметила девочка, — чрезвычайно глупая шутка деятелей Просвещения. Всем бы повыдергала бороды! Ты не помнишь, у просвещенцев были бороды?

Кутузов погладил чисто выбритое лицо:

— «Прогресс благосостояния человечества — чрезвычайно запутанная задача. Все не имеющие возможности избавить своих детей от унизительной бедности должны были бы воздерживаться от брака, потому что бедность не только сама по себе большое зло, но и стремится к постоянному возрастанию путём необдуманных браков», — и замолчал, вспомнив свой брак.

— Бедность и необдуманные браки? — встрепенулась Аня. — Бедность и воздержание? Вот как! Ты сам-то слышал, что сказал? Дарвин велит плодиться и размножаться только тем людям, у которых на это есть деньги! Он уже всех поделил на достойных и не достойных продолжения рода!

Кутузов принялся ходить по библиотечному залу, обошёл вокруг столика, подправил ширму, чтобы лучше видеть пирамиду. Девушка смотрела из угла и ждала, как он вывернется. Он молчал.

— Ну ладно, не грусти, — замахала руками Аня. — Тебя вполне утешили две тысячи лет назад. С тобой, не предвидя тебя лично, согласился сам Бог: «Иисус, видя, что он опечалился, сказал: как трудно имеющему богатство войти в Царствие Божие!»*. А по Дарвину всё наоборот: богатые — размножайтесь, направляйте прогресс, берите мир себе. Да это же глобализация какая-то! — провоцировала Кутузова девятнадцатилетняя девочка. Индиго.

* Евангелие от Луки, 18:24.

— Мы перескакиваем, — очнулся он. — Я не согласен жить по велению. Я хочу — всё сам. Ты понимаешь, как важно — сам? «Человеку можно простить, если он чувствует некоторую гордость при мысли, что он поднялся, хотя и не собственными усилиями, на высшую ступень органической лестницы; и то, что он на неё поднялся, вместо того чтобы быть поставленным здесь с самого начала, может внушать ему надежду на ещё более высокую участь в отдалённом будущем».

— Человеку можно простить... — насмешливо передразнила Аня. — Ишь какой прощальщик выискался.

— Мой писатель верит в человека, любит и возвышает его, воздаёт хвалу за успешное прохождение лестницы, понимаешь? В конце концов, бережёт его, человека, нервную систему. Ничего нельзя доказать, но верить удобнее в Дарвина. Понимаешь?

— Понимаю. «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит её; а кто погубит её, тот оживит её»**. Не устал?

** Евангелие от Луки, 17:33.

— Я не верю в душу, я вижу — есть жизнь, и какая мне разница, что будет после? Моя жена... Где она? Если слышит нашу пикировку, она страдает, а куда ей ещё страдать!

Я в силах сочувствовать ей, но что ещё? «Я старался по мере сил доказать мою теорию, и, сколько мне кажется, мы должны признать, что человек со всеми его благородными качествами, сочувствием, которое он распространяет и на самых отверженных, доброжелательством, которое простирает не только на других людей, но и на последних из живущих существ, с его божественным умом, который постиг движение и устройство Солнечной системы, — все-таки носит в своем физическом строении неизгладимую печать низкого происхождения».

— Загадку происхождения ты разгадываешь под уклон, под гору, в низкое, и словно рад унижению человека, — задумалась Аня.

— Загадка смерти куда глубже. Моя жена умерла — полностью?.. Я помню жену. Но умерла полностью, все видели... Может, и к лучшему. Наша совместная жизнь подтолкнула её к смерти? Начинаю считать варианты — вижу: ничего, ничего нельзя было изменить.

— «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке; и поместил там человека, которого создал»*, — напомнила девушка.

* Бытие, 2:8.

— У нас не было рая. Значит, всё не про нас... Думаю, что...

— Дано! Доказать! Думать! Думаю! Не слишком ли жадно ждёшь ты от какого-то там думания? Что можно выдумать, кроме того, что и так есть? — Аня почти рассердилась.

— Это не одни лишь мои трудности: «Самое большое затруднение, возникающее перед нами, когда мы приходим к этому выводу о происхождении человека, — это высокий уровень умственных способностей и нравственных качеств, до которых он поднялся». Действительно затруднение! Я представляю, как больно было Дарвину писать эти строки о самом большом затруднении. Но написал! Это мужественно.

— Первый на Земле мужской поступок, когда взял он плод из рук женщины, не был мужественным, дорогой профессор. Первый же мужской поступок был гордынным. Зерно гордыни дало все остальные всходы. Конечно, Дарвин как натуралист не может не удивляться: дурное зерно принесло высокий уровень нравственности... как ему почему-то кажется, — усмехнулась Аня.

— Ты меня замучила, женщина, — улыбнулся Кутузов. — Дай, пожалуйста, ещё чайку.

— Поступок Адама, профессор, получил оценку ещё в первой книге. — Аня дала ему чаю, варенья из райских яблочек, горного мёда, арбузных цукатов. — С тех пор всё так... мужественно! «Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от

дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: «не ешь от него», проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от неё во все дни жизни твоей»*. Получил?

* Бытие, 3:17.

— Да... это грустно. Получил... ощущение, что не только ел от дерева, но остался на дереве: «Таким образом мы узнаем, что человек произошёл от млекопитающего, покрытого волосами и снабжённого хвостом, которое, по всей вероятности, жило на деревьях и было обитателем Старого Света. Натуралист, которому пришлось бы исследовать строение этого существа, без всякого сомнения отнес бы его к четвероруким так же, как и общих и ещё более древних прародителей обезьян Старого и Нового Света ».

— Может, кто-то и остался! Кого где создали, там и сидят! «И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что *это* хорошо»**. — Аня выглядела расстроенной.

** Бытие, 1:25.

— Мой полупастор, как обзывает его одна вреднючая и непоследовательная журналистка, видит развитие иначе: «Четверорукие и все высшие млекопитающие произошли, вероятно, от древнего сумчатого животного, а последнее через длинный ряд видоизменённых форм — от какого-нибудь животного, вроде земноводного; эти же, в свою очередь, от рыбообразного существа». Так что сумчатые мы с тобой. Возьмём сумки, пойдём на рынок, возьмём пищу, зажарим ту, которая точно уже бездушная.

Кутузов утомился беседой. Во-первых, опрометчиво спорить с особой женского пола, да-да; во-вторых, жутко спорить с особой нежного возраста, в котором его студенты обычно лишь подбирались, прихватывали первые кусочки мягкими ещё коготками, тешились начатками своих куцых осведомлённостей. В-третьих, ловкая особа красива, как Долина царей. В-четвёртых, она хозяйка дома, что немножечко смущало гостя, мешая развернуться в полную силу.

— Не имею душеметра, — говорила девочка, не обращая внимания на усталость профессора. — «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду её. И увидел Бог, что *это* хорошо»*. Завтра на рынок, ладно? Не суетись. Поешь варенья.

* Бытие, 1:21.

Кутузов послушно сосредоточился на чайном столике, на варенье, удобно блокировавшем возможность порождения речи, запил всё молоком и ласково мурлыкнул :

— Ах ты, рыбка сумчатая! Пойдём погуляем. Я тебе всё про себя расскажу, только не сразу, ладно? Боюсь, ты тоже устала.

Аня выпрыгнула из кресла:

— Пойдём к павлинам. Практически райская птица.

— Да и я практически в раю, — охотно поднялся Кутузов, потянулся, скрывая волнение.

Вышли. Тёплый мир вокруг. Жёрдочки. Трава. Плетень. Здоровенный мангал. Миновали конюшню. Уловив бодрое, сытое ржание, Кутузов опять утратил чувство реальности: слышать голоса домашних лошадей, близко, за спиной, не доводилось, и довелось бы — не услышал. В оставленной за спиной жизни звуки мира проникали в его измученное урбанизированное сознание по капле, причиняя угрюмый дискомфорт. Одно животное, условная единица терпения, удав, набитый буквами, любим и очевиден, но и удав был, оказывается, городское животное. Здесь, на условной воле, профессор помнил только цитаты. Своё замерло и не пошевеливалось.

Павлины разволновались, увидев хозяйку. Кутузов из вредности попросил отвести его в морской аквариум.

— Скорее в аквариум, — спокойно согласилась Аня. — Рыбки успокаивают. И давление понижают. Пройдём.

Кутузов, направляясь в пахнущий солью и моллюсками зал, зашёл с первородной воды.

— «В отдалённой древности родоначальник всех позвоночных представляется нам в виде морского животного, снабжённого жабрами, у которого оба пола были соединены в одном неделимом и которое отличалось крайне несовершенным развитием наиболее важных органов, например, мозга и сердца. Это животное походило, по-видимому, на личинки существующих теперь морских асцидий более, чем на всякую другую известную нам форму», — сказал неугомонный гость, рассматривая весёлые гонки по кругу двух карликовых акул.

— Ты ещё про андрогина заверни! — отозвалась Аня, подбрасывая корм. — У наших источников, заметь, мало разногласий по ходу события. «И сказал Бог: да произведёт вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землёю, по тверди небесной»*. Твой любимец держится примерно той же схемы.

* Бытие, 1:20.

— Но мой обещает прогресс — всем! Даже рыбкам! Смотри: «Но всякий, кто признает принцип эволюции, должен видеть, что умственные способности высших животных, несмотря на громадное различие в степени, качественно те же, как и у

человека, и способны к дальнейшему развитию». К дальнейшему! Может, он романтик. Но у него настоящая вера! Мой любимый писатель всем обещает светлый путь и вполне логично доказывает. Ты потом почитай внимательно.

— И коммунисты обещали. Некоторым перепало. А мой источник, — сказала Аня , выводя Кутузова из аквариумного зала, — уже не беспокоится о развитии рыбок в сторону сумчатых. Создал и всё. Готово. И это хорошо! Его тревожит исключительно плод шестого дня: «Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не соблюдая заповедей Его, и законов Его, и постановлений Его, которые сегодня заповедаю тебе»**.

** Второзаконие, 8:11.

— Ты видишь, наступает гармония! Они сходятся! Сходитесь! «Отсюда, если какое-нибудь временное желание или страсть одержат верх над его общественными инстинктами, он будет сравнивать и проверять ослабленные в данную минуту стремления с всегда присущим общественным инстинктом; тут он неизбежно почувствует то недовольство, которое оставляют по себе все неудовлетворённые инстинкты». Мой писатель, как я уже доказал тебе, неуёмно любит, обожает человека. Даже не представляю, сколько терпения понадобилось ему, чтобы написать все труды столь органичными, яркими, волнующими, и всё вращается вокруг всего-навсего двух мыслей, но каких!

— За что, интересно, Дарвин любит человека? — мечтательно посмотрела в сторону весёлых акул Аня. — «И сказал мне Господь: встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта; скоро уклонились они от пути, который Я заповедал им; они сделали себе литый истукан»*. За это? Во времена Дарвина истуканы выстроились по всей Европе. И сейчас их всё больше. Ты любишь людей, как завещал великий Дарвин? Тем же местом?

* Второзаконие, 9:12.

— Анечка, мы можем анализировать. Я, например, смогу завтра, выспавшись, проанализировать твоё поведение: «Нравственным существом мы называем такое, которое способно сравнивать свои прошлые и будущие поступки и побуждения, одобрять одни и осуждать другие. То обстоятельство, что человек есть единственное существо, которое с полной уверенностью может быть определено таким образом, составляет самое большое из всех различий между ним и низшими животными». Я, не вполне нравственное существо, начну сравнивать прошлые и будущие поступки — за уши не оттянешь! Я свободен. Скажи одно: почему ты возишься со мной? Ты нравственное существо?

— Прекрасно, профессор. На эту тему там тоже есть предупреждение: «Итак,

обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны»**. По части нравственности — ничего не скажу, я в этом плохо разбираюсь.

** Второзаконие, 10:16.

— Значит, по-твоему, свобода — путь к жестокости? «Величайшая неумеренность не считается пороком у дикарей. Их крайний разврат, противоестественные преступления в самом деле изумительны». У дикарей! Ужасны свободные *дикари*! А ты свободна?

— Да, дикари, наверное, ужасны. Непереваренная свобода плодоносит незамедлительно: «Но они развратились пред Ним, они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный»***. Это известно. Я, наверное, свободна.

*** Второзаконие, 32:5.

— Только у тебя карточки, — неумно съехидничал Кутузов. Аня даже не расслышала.

Вернулись в дом. Аня поставила самовар. Взяла пульт управления и запрограммировала хозяйство, попутно что-то шепнув дворецкому в крохотный микрофончик.

Кутузов испытывал сразу пять-шесть эмоций, ему — чрезвычайно много. Говорить стало трудно, будто кислорода убавилось.

Аня действительно знала Библию не хуже Кутузова. Он впервые встретил достойного соперника. Но соперник во всём повёл себя как соратник! А такого не могло быть.

До встречи с ней профессор втайне смотрел на верующих как на маргиналов, очевидно скорбных умом и/или развращённых бедностью. Аня в стереотипы не вписывалась. Она умна и богата. Очень красива. И с этим комплектом — верует в Бога! Помогает первому попавшемуся беглому атеисту, старому скептику, вдовцу и коллекционеру. Ну да, она индиго, но это ничего не объясняет, тем более Кутузову, который всё невидимое бранил нехорошими словами: мистика! метафизика! На лекциях он, конечно, правильно пользовался этим лексическим хозяйством, но за учебными стенами с наслаждением срывал с опасных понятий пошлый флёр научности, особенно перед женой и сыном. Профессионал словесности, преподаватель жанров и стилистики, он ухитрялся одного себя чувствовать прибором высшей точности.

— Род строптивый и развращенный, говоришь?.. Кстати, разврат! — опомнился Кутузов. — Интересно, что вкладывали в это слово переводчики сами, лично, не в смысле «лития истукана», — сами, как персоны, люди, отцы? Аня, ты целомудренна? « Целомудрие требует большого умения владеть собой; поэтому оно уважалось уже в

ранний период нравственной истории цивилизованного человечества. Следствием этого явилось бессмысленное почитание безбрачия, которое с самых древних времён считалось добродетелью». — Такой пассаж уже походил на мужицкий, даже мужланский, но вывести Аню из себя не удалось.

— Я подумаю над этим вопросом. Выйду замуж и подумаю. «Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано...»* Я выйду за того, кто способен жениться и вмещает слово. Ну, чтобы не малодушничал, как ученики Его. Которые чуть было вообще не погубили род людской своим страхом перед ответственностью.

* Евангелие от Матфея, 19:10—11.

— Девочка! Мужчины коварны! «Но как только брак, в форме одноженства или многоженства, начинает распространяться и ревность начинает охранять женское целомудрие, это качество ценится и мало-помалу усваивается и незамужними женщинами. Насколько медленно оно распространяется между мужчинами, можно видеть ещё и в настоящее время». Какой милый юмор... А может, и самокритика?

— И какое противоречие самому себе! Кажется, там у тебя что-то было про нравственную высоту человека, — напомнила она, карабкаясь по лесенке на верхнюю полку стеллажа, где стояли энциклопедии.

— Кстати, ты заметила, сколь высоко Дарвин ценит ревность? — Кутузов подбежал к стремянке — помочь, и, глядя вверх, призадумался над формулой красоты; он давно мечтал её вывести. — Ни секунды осуждения. Ревность — благотворна; топливо прогресса. А твой источник ревность не поощряет. И любую частную собственность. Выйдешь замуж, говоришь?

— Выйду, — донеслось сверху. — Возьми, пожалуйста, книги... Не по стадности, а по призванию. Чувствую призвание. «Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды»**. В моём источнике всё есть.

** Исход, 23:2.

Аня, с пятью томами из Брокгауза, начала спуск. Он протянул к ней руки, забрал тяжесть, положил на пол.

— А я посмотрю, деточка. «Общественное мнение нередко руководится каким-нибудь грубым опытом относительно того, что в конечном результате лучше для всех членов общества. Но это мнение нередко бывает ошибочно вследствие невежества и недостатка рассуждающей способности». Ты такая красивая!.. — Кутузов почувствовал дурман вроде слабоумия.

Аня спрыгнула. Он подхватил её и прижал к груди. Сам не понял, но прихоть

нашла, и в душистую золотую макушку он Аню чмокнул.

— Ах ты, борода! Да ты знаешь!.. «Если обольстит кто девицу необрученную и преспит с нею, пусть даст ей вено *и возьмет ее* себе в жену»*.

* Исход, 22:16.

— А это происшествие, как я понимаю, может выйти токмо вследствие невежества? — рассмеялся Кутузов абсолютно счастливо. Никогда в жизни он так не развлекался с девицей необрученной и вообще ни с кем. Довольный, он раскраснелся, подпрыгнул и сплясал что-то дикарское, с выкрутасами, чего тоже не делал со времён старшей группы детского сада.

Аня вынесла из библиотеки Брокгауза осторожно, будто артиллерийские снаряды. Вернувшись, подошла к журнальному столику, поразглядывала корешки Библий, удивляясь, сколь прочной, устойчивой получилась пирамида. Чёрные, синие, коричневые блоки разноформатных изданий подогнаны искусно, по наитию, словно сами чудесно сошлись в самую чистую, прекрасную форму. Как удалось библиографу за одну ночь выбиться в Хеопсы?

— Почему на лике девицы необручённой смелая решительность? Порождением чего заняты ваши уникальные мозги?

— Отойди. Не пытайся. Сие — неуглядаемая тайна.

— Батюшки, мы ещё и Даля перед сном перелистываем? Солнышко моё, да зачем тебя сделали такую? Красивую нелепость? Что за шутки природы?

— «...вся сущность инстинкта состоит в том, что ему следуют независимо от рассудка», — ответила Аня голосом Кутузова.

— О, ход конём?

— Пони, — улыбнулась Аня победно.

— Аня, прости меня. Всё настолько невероятно, что... ну, скоро пройдёт, ну ты же всё знаешь, я потерян, разбит, а вдруг ты, твоё, грёзы, бред, надежды... что я несу!.. — вдруг забормотал Кутузов.

— Завтра отбредишь? Мне бы знать — мне в город ехать, а тебя тут оставить или не оставить? Надо решать сейчас же. Прислуге указать, павлинов разных урегулировать, хлопоты...

— Поеду в Москву. Поеду непременно! Аня... Я могу попросить твоего библиотекаря выдать мне учебник хорошего тона? Я забыл, как с людьми по-человечески разговаривать!

Аня без иронии, строго пообещала выдать учебник.

Глава 27

На поклёп божбы не напасёшься. Кто кого за глаза поносит, тот трусит его. И в напраслине, что в деле, люди погибают. Худого не хвали, а хорошего не кори. Хоть по горло в грязи, да не брызжи. Чем поиграешь, тем и зашибёшься

Ходить по той же квартире, варить кофе на той же кухне, всюду натыкаясь на следы ушедшей жизни, — пока не походишь, никогда не поймёшь.

Магиандру всюду виделись трупы со стеклянными глазами. И разверстый дубовый шкаф, опустелый, несуразный, конечно, казался гробом.

Пребывать вне квартиры было не слаще: город или университет; камни, загородки , ограды. Тяжело бродить, дрожа и воображая: под землёй везде лежит мать, под каждой плитой. Её глаза наконец закрыты. Это навсегда. Между лицом и крышкой есть пространство, которого она не видит, но оно есть.

А можно пойти учиться, но ведь тоже — идти, значит, наступать на городские плиты, давить ногами тротуары, а под землёй везде она. И пространство между лицом и крышкой, замучившее Магиандра своей нелепой вежливостью.

Вариант университета плох ещё тем, что на факультете не хватает одного профессора, из-за которого Магиандр и поступал. Вариация *бродить* нехороша вся. Всё пугает — плюс абсолютно живые глаза бегущих по суете людей, а Магиандру никак не удавалось убрать офорт «Глаза. Ночью, на кухне...».

Звонить в редакцию радио «Патриот» уже неудобно, почему-то решил Магиандр. Неуютно беспокоить занятых людей, говорил он себе не своими словами, не своим голосом и не свои мысли. «Удобно! Давай позвоним!» — беззвучно повизгивал из кармашка мобильник, предлагая быть коммуникативной опорой; маленькое грустное наладонное представительство человека, метонимия, сгусток обещаний. Солидный двадцатилетний Василий отмахивался и не желал признавать права фантомчика.

В церковь он ходил ежедневно, там отпускало, но через полчаса возвращались убийственной парой — офорт «Глаза» и размытый абрис пыльного дубового шкафа, плавающего в песчаном воздухе кабинета.

Наконец Магиандр вспомнил, что в редакцию звонить некому, отпуск, а звонить на мобильник даме, отдыхающей от потрясений, тоже неудобно: журналист как бы тоже человек.

Изведя себя вежливостью, тоской и опасениями, Магиандр машинально прижал кнопку быстрого набора и услышал мой голос.

— Идём? — предложила я, и мы пошли, поскольку иначе быть уже не могло.

— Вы очень любите свою работу? — задал он принципиальный вопрос.

— Я стараюсь никогда не делать того, что не люблю, и тебе не советую.

— А деньги?

— Платят. Всем спасибо. Но это вторично. Первично — удовольствие.

— А от чего удовольствие? Полезность? Вы полезны? Родине?

— А вот улыбаться при звуке слова «родина» я тебе не советую.

— В атаку, да? Вперёд, на мины, ордена потом?

— Понимаю, понимаю. Следующий вопрос.

— Расскажите, откуда всё взялось?

— Ага, а также — как и что с чем-кем связано, да? Вкратце. Тебе с точки зрения истории отечественной прессы или так, по-человечески?

— Вы понимаете, мне всего двадцать лет. И для меня всё — данность. А вы сверкаете с высот гранитного Олимпа, куда забрались до моего рождения, и откуда мне знать как. Расскажите что-нибудь изначальное.

— «Начало было так далёко, так робок первый интерес...»

— Пастернак. Уважаю. А теперь...

— Начнём с исторической байки. Я её всем рассказываю. Хронометраж — пять минут, выдержишь?

— Еще одно мороженое, ладно?

Мы заказали ещё. В кафе было пусто и тихо — две редкости на Москве; многие пункты общепита нынче коммерчески связаны с музыкальными станциями обворожительными контрактами: лить их радиопродукцию в зал, на головы пьющих и едящих, на договорных децибелах. Убавить громкость не допросишься: начальство не велит. По-моему, здраво. Быстрее допьёшь и место освободишь.

— Дело было в былинные девяностые годы. Я трудилась на уникальной радиостанции, самой первой из разговорных. Мы первыми осваивали ныне привычный интерактив: автор-ведущий плюс гости, а народ интересуется и названивает, вопрошает что хочет. Всем было весело и страшно. Весело, поскольку всё может быть. А страшно... в общем, потому же.

— Много звонили?

— Не то слово — много! Человекам перепало новое блаженство: взять и выйти в эфир из дома! Стоял трезвон-перезвон! От избытка чувств иные матерились, и пьяные звонили, всякие. Теперь их фильтруют, а тогда всё только начиналось. И пришёл к нам на радио новый ведущий, медицинский журналист. Горит энтузиазмом, жгучие темы

поднять хочет, искренне полагая, что всё интересное лично ему так же волнует и публику . Например, клистиры, неврозы, сколиозы, недержания того-сего, давление...

— А темы он сам выбирал? — заулыбался Магиандр, предчувствуя разгул домашней медицины.

— Конечно. И вот однажды он, пылкий новобранец, привёл в студию хорошего дядечку-психолога, специалиста по семейным делам. Нарождалась мода: чего уж дома драться-то — обратитесь к доктору. Нашему народу сие было в невозможную новинку, и многие психологи сделали хорошие карьеры. Так вот, представь мизансцену. Сидят в студии двое. Мужик и ещё мужик. Два мужика сидят у микрофона и собираются пятьдесят минут обсуждать колоссальную проблему: как девушкам грамотно замуж выходить. Получше подцепить и покрепче привязать. Потом заботы взял на себя глянцевый сегмент, а тогда лишь начиналось... Всё бы ничего, но — два взрослых мужика, с такими советами... И народ, в известном испуге и шорохе, притих. Они сидят, пылко сыплют обещаниями, призывно позыркивая на звукорежиссёршу: нет ли какого звоночка? Нет, сокрушённо показывает им она. Никто не звонит! Напряжение возрастает . Десять, двадцать минут прошло — ни одного звонка. Аппаратура исправна, всё работает, а народ, дотоле бурно звонивший по любому поводу, затих. Ведущий нервничает, гость удивляется: он же великий, он искренне хочет помочь неопытным девушкам! Наступает критический момент. Слова кончаются, но слушатели молчат. И вот — о счастье! На двадцать пятой минуте эфира оживает вожделенный телефон! Звукорежиссёрша радостно показывает ведущему трубку: вот он, звоночек, вот! Ведущий , приободряясь, учтиво здоровается со слушателем и ласково, как у девушки, спрашивает с надеждой:

— У вас есть вопрос?

— Есть, есть! — дребезжащий старческий голос. Не девушка. Дедушка.

— А какой же у вас вопрос? — приуныли в студии, но тем не менее.

— Так вынесут тело Ленина из мавзолея или нет? Я вас спрашиваю!.. — с неподдельным интересом, обиженно вопрошает слушатель.

Со звукорежиссёршей начинается форменная истерика. Автор и гость безнадёжно теряют дар речи. До конца программы ещё полчаса. Психолог мигом забывает всю свою науку. Автор машет руками, чтобы режиссёрша убрала звук. Она не понимает, почти плача от хохота. Слушатель тоже не понимает: где ответ?

— Я на радио позвонил или нет? — возобновляет он атаку.

— Н-н-на радио, — с нечеловеческими усилиями разжимает губы ведущий. Медицинский журналист.

— Так и отвечайте! Вынесут?

Первой находится, к облегчению всех, режиссёрша. Вырубает и телефон, и студию, замузычивает эфир, вытирая глаза, потом опять сползает со стула.

— Что-что делает с эфиром? — заливаясь, выговаривает Магиандр.

— Замузычивает. Она поняла, что психологический концерт окончен, и запустила резервную музыку. И полчаса услаждала слушателей, кажется, Анжеликой Почему.

— Здорово! — придя в себя, восклицает Магиандр. — Жаль, теперь такого не услышишь!

— Да уж. Спонтанного шапито больше нет. Конечно, оно есть, но в эфир не выпускают. Все станции тогда, в начале свободы, нагрелись на подобных сюжетах и теперь стараются беречься. Ну, кроме известной тебе станции «Патриот».

— А у «Патриота» почему нет фильтра?

— Ну, какой-то всё-таки есть, но редко. На некоторые программы сажают редактора, он трубку первым берёт и выясняет состояние клиента, принимает решение — надо нам или нет? Но не каждый день. Обычно — пришло и пришло, и выкручивайся, любезный ведущий, как умеешь. Кураж надо беречь!

— А вам нравится?

— Так мне только такое и нравится. Азарт. Я очень азартна. Мне, например, ни в коем случае нельзя играть в преферанс. В юности, когда меня только научили префу, мне страшно везло. Но я очень быстро завязала с этим, поскольку ледяные иголки на затылке...

— Что? На затылке? — не понял молодой человек, очень молодой.

— Когда мне приходил голубой мизер, у меня затылок леденел, в жилах кровь останавливалась и лицо белело. Партнёры пугались: нельзя выдавать себя. Карты! И я навек бросила игры. Все до единой.

— И никогда больше? Даже сейчас, когда всюду казино?

— Боже упаси. Даже не заходила ни разу. Да и какие там игры! Дурацкие нагрузки на судьбу. Везение! А мне не хочется проверять какое-то везение. Преферанс — для головы. Считать надо. А тут — фу. Ерунда.

— Откуда вы знаете, если не заходили?

— Я книжки читаю, кино смотрю, с людьми разговариваю. Журналистика, знаешь ли, позволяет иногда получать информацию бесконтактно.

— А тот ведущий, ну с телом Ленина, он потом работал?

— Разумеется. Прочихался, водки попил — и на другой же день обратно. Это не лечится. Радио — игла, с которой не соскакивают. Особенно с иглы прямого эфира.

— А можно попробовать? — вдруг осмелел Магиандр.

— Выйду из отпуска, пойму, на какой планете нахожусь, попробуем. Сейчас я никто и звать меня никак. Опальный субъект, которого ели, не съели, но аппетит, боюсь, остался.

— Но мамы нет... — нахмурился он, полагая, что я совершила некую речевую ошибку.

— Мне жаль безумно, поверь, честное слово! Но ведь она не одна...

— Как?.. Ведь всё выяснилось! Все письма, разными почерками, на всех этих бланках, писала только она!..

— Ребёнок. Давай ты не всегда будешь спорить со мной, а только изредка, идёт?

— Вы думаете, у неё были сообщники? — возмутился он.

— Сообщник анонимщика — эпоха. Время действия. Историческая обстановка. Язык и контекст. Словом, очередные задачи советской власти... А, ты не читал...

— Вы меня утешаете или пугаете?

— Сама не знаю, как относиться к этому. Ты ведь совсем юный, а уже столько пережил. В мирное время — сирота, на ровном, казалось бы, месте. Смотри, что получается: в один миг ты остался без матери, а в какой-то степени и без отца — он, конечно, найдётся, уверена! Взрыв, будто метеорит упал на семью, где не собирались ни умирать, ни убегать. И сидишь ты сейчас в кафе с представителем прессы, а сидел бы дома и смотрел на других представителей, только на экране. И радио слушал бы равнодушно, там про других, и всё это умора и кино.

— Пресса принесла в наш дом смерть. Началось-то не с вас. Объявление было всероссийское, новости министерства, про Дарвина и религию.

— Формально — да. Но куда бежать от прессы? Некуда. Почти все, чуть что — к прессе. Всё она, зараза, понимает, умеет и знает.

— Мне сейчас хорошо, — вдруг притормозил он. — С вами.

— Спасибо, стараюсь, но это частное определение. Знаешь, я могла бы уехать в отпуск подальше от Москвы, прогуляться по свету. А я сижу в городе, в опасении, что без меня произойдёт захватывающее, решающее, и моё межеумочное состояние тоже результат воздействия прессы — уже на меня лично. Эффект-иллюзия участия в жизни. Но я умею с этим бороться, могу — не всегда! — оторвать мух от котлет и дифференцировать: где я и моё, а где внушённое. Большинство прочих потребителей современной информации этого уже не могут.

— И вы думаете, мама писала как бы... ото всех?

— Безусловно. Иначе в этом жанре не пишут. Рука не поднимется.

— Пойдём пройдёмся... — вдруг очень жалобно попросил он.

Мы два часа брели по улицам, не глядя друг на друга. Молчали каждый о своём. Мне было неловко, хотелось избавить мальчика от игл, вонзённых обстоятельствами места и времени, но я не знала как.

Глава 28

Как так: корова чёрная, а молоко белое? Людям на потешенье, всему свету на удивленье. Тарабарская грамота. Потерял — не сказывай, нашёл — не показывай!

— Баблотека. Ух! Смотри, что я придумал! — сказал Ане Кутузов утром, новым, до хруста свежим.

Девушка смиренно ждала, пока профессор выбирался из мешка. Он провёл ночь на журнальном столике подле своей пирамиды, куда ему действительно принесли перины, постелили, огородили. Он выспался глубоко и полно.

— Обстановка навеяла? — расшифровала девушка.

— А ты думала! Не каждый день поспишь посреди... С этимологией *бабло*теки всё ясно?

— Ты меня не уважаешь. А откуда знаешь бабло?

— Я и про башли слыхал, и про капусту. Я же учёный, детка, и отец твоего ровесника. У меня сто человек детей в универе.

Профессор отправился в душ. Оказалось — обширная территория, покрытая плиткой от Валентино. В углу скромно спряталась двухместная джакузи, в другом — кабинка с музыкой, собственно душ, в третьем — понятные жизненные удобства, в четвёртом — ну гримуборная для кордебалета. В серединке можно устраивать кремлёвскую елку, водить хороводы, не толкаясь, но — не сезон.

В баблотеку вернулся новый человек. Воодушевлённый. То есть из-под душа. В Москву! Три раза.

Как ни скор был побег, Кутузов успел захватить из дому и вещи для тела, и вытащить из кладовой старую дорожную сумку, способную менять фасон и размер. Аня отметила запасливость, не повреждённую бедствиями.

Завтрак подадут через десять минут, сообщила она и тактично оставила больного наедине с его сокровищами, а он, вытряхнув из сумки всё до пылинки, обошёл пирамиду и выбрал три фолианта, так, средней руки, уложил на дно, прикрыл их свитером и застегнул замки на минимальный размер сумки. Нелегко было решить со *средней рукой*,

но сладил с собой, выбрал, отторг верхушку-пирамидион, отрезал по живому.

За едой обсудили день: оба едут в Москву, Аня работает переводчиком с китайско -финской делегацией, профессор гуляет, вечером встреча, возвращаются к ужину. Аня заметила про себя, что подмосковный воздух полезен убитому горем вдовствующему сумасшедшему. Конечно, термины не оглашались. «Полезен убитому горем», — думала Аня. «Подмосковный воздух», — думал Кутузов. А «сумасшедший» никто не думал, и так ясно.

Пока летели по магистрали, Кутузов был исключительно бодр: что-то звонкое, хрустальное делает новизна с любой душой, как она ни вертись и как ни кричи ей что-то учёное воспалённый мозг. И даже если её нет.

Но по прибытии в город, когда Аня умчалась к своим китайским финнам, у Кутузова около желудка, ближе к сердцу, стало мягко и вяло, будто чуть спустило колесо . Он, правда, сначала не понял — какое.

Колкие мысли о деньгах, о внезапной необходимости заработать нетипичную сумму; воспоминания о похищении собственной библиотеки из собственного дома; вспыхнувшая, как электросварка, рамка «Глаза жены», — и через минуту-другую Кутузов узнал, с каким подлым присвистом и сосущей болью спускает колесо фортуны, спускает по всему телу, спускает не в символической вышине, где носятся мифы, эйдосы и симулякры, а грубым рывком спускается всё, как игрок спускает последние часы, всё летит вбок, набок, вкривь и вкось, а ты думал, такое только в кино — пуск! И ракета падает!..

Взлетела и рухнула. Торжественный пуск! Шум, делегация — и взрыв. Остросюжетное кино! Оно может ворваться в жизнь и устранить её. Оказывается, существует и внутреннее колесо, которое не чувствуешь, пока хорошо, пока здоров. Кто бы подумал... фантастично. Ну не может быть! Ослабели ноги, пробило испариной. Не может! Встать!

Он вспомнил проклятое радио, ещё раз пережил позорную смерть анонимщицы, увидел растерзанную Библию с оторванными досками, за лечение которой он должен три тысячи евро слишком щепетильному реставратору, мельком зацепил брошенных в разгар семестра студентов и на горький десерт подумал о сыне, который чудовище... но у сына есть его Бог, вот и пусть разбирается.

«А меня этого нет! — почти крикнул Кутузов. — Мне всё это самому! Одному!»

Сплетение нитей; узел хуже морского. Что вы, Парки, наделали? Я не могу вернуться к людям, пока не распутаю. Не я запутал, а распутывать мне.

Сегодня профессор Кутузов вышел в люди, чтобы познакомиться с людьми и

уточнить, зачем они живут. Сегодня это важно, и наживка, лучшая на белом свете, у него с собой. Поправив отсутствующий галстук, он выпрямил спину.

Он стоял, как флагшток без полотнища, посреди шумной улицы и не мог найти указателя с названием. Завели же моду: писать имя улицы только в начале квартала. А если вас высадили в середине?

Не справившись, он рассудил: зачем ему имя улицы? Люди везде одинаковы. Ясно , что это не Твербуль. Пампуша-то нет.

...Как начать? Оттуда, из фантазий, с Аниной кухни, от журнального столика под пирамидой — всё казалось осуществимым до смеха легко. Подойти к любому прохожему , вручить книгу, «не стоит благодарности». Наученный первыми опытами с бабушками, он не будет входить в переговоры, прислушиваться к особенностям речи, нюхать нафталин ассоциаций — никогда! Даешь конкретику!

До вечера ещё восемь часов и три книги. Спешить некуда. Вот сейчас он разомкнёт молнию, вынет из котомки наугад первую Библию — не стоит огорчаться! — и подойдёт к прохожему, у которого на носу очки. Или лучше без очков? Как лучше?

Первый, кто возьмёт книгу, скажет простое спасибо и пойдёт своей дорогой, но уже с книгой, каков он?

А ещё говорят — начинающим везёт в игре. «Так это в игре!» — договорился с собой Кутузов. Сейчас всё серьёзно. Проверка мира на прочность убеждённостей, заблуждённостей, очарованностей. Все вы, люди, одинаково любите и похоже ненавидите. Просто люди. Биороботы-простолюдины. «И у всех болит правое ухо!» — рассмеялся вдруг оживший Кутузов. Раньше он не замечал: все идут по улице, держась за правое ухо. Он не ожидал миллиона мобильников. В конце прошлого века он посетил конференцию в Португалии. В крошечном прибрежном городочке даже дети в рейсовом автобусе болтали по мобильным, а Кутузов равнодушно глядел в социальный телескоп: изобилие аппаратиков не придёт в Россию. А оно — примчалось. Что-то случилось. У всех заболело ухо. Общее ухо болит.

Так, ещё два-три проскока, и *общее ухо* станет *проблемой коммуникации*, в полный рост восстанет профессор кафедры, а план сорвётся. «Нельзя думать!» — вдруг приказал себе Кутузов и чуть не упал от удивления.

Любимое занятие — думание! Мыслить — блаженство. Всё важное рождается *так*, а у Кутузова и способы свои: удав, обожравшийся и обсыпанный буквами. Ну, вы помните. Мозг — это счастье. И вдруг вот — на тебе.

Думание режет и мешает выполнить размеченный, строгий до готичности план. Нельзя думать, когда решил делать. Вот оно что, вон оно как. Отудивлявшись, Кутузов,

не дурак же он, решил прислушиваться к себе внимательнее. Хотя, конечно, сомнительное открытие с не-думанием крепко обожгло и побаливает. Непонятно, куда положить открытие. Нет файла! Файла под это дело не заведено!

Уймись, гордец. Бери книгу, давай людям, получай своё спасибо, иди своей дорогой. Бери ещё, давай, получай, спасибо. Люди любят эту книгу, пусть получат, пусть . Я полюбуюсь.

Лет пятнадцать назад приятель, он теперь за границей, рассказал Кутузову про дикий, утробный страх: выйти куда-нибудь на Арбат, расчехлить скрипку, подстроиться прилюдно и, пережидая экономические реформы, сбацать пиплу Вивальди. Разумеется, « Времена года». На Арбате от уличных не ждут ничего другого. К слову сказать, « Времена года», особенно «Зима», трогательно пригодились нашей стране в эпоху новых русских перемен. Златопопсовые «Времена года» уже лет около двадцати сладко будоражат сердца прохожих в роли всеуличного, подземнопереходного, метровестибюльного гимна. В заполошно-рывковой музыке итальянца явлено чётко-чувственное обещание, что вот это *всё* — точно пройдёт.

Приятель поведал Кутузову: дома казалось — легко! А вышел на Арбат, стал посреди гуляющей, ни в чём не повинной публики, жара под тридцать, руки дрожат на чехле, скрипку пора вынимать, Вивальди ждёт, а вокруг... пустыня! Внезапно пошли не люди, а верблюды, посыпался тяжёлый снег, и так это головокружительно — верблюды под снегом, ни у кого нет лица, только тяжкие горбы набок.

Приятель смекнул: не к добру это — заснеженные верблюды на жаре Арбата. Страх всегда приносит на своих горбах колючие, леденящие сюрпризы. Пиликать со сцены — одно, а посреди пешеходной, праздной улицы, где вся публика безбилетна, к креслам ничем не привязана, — другое.

Он прогнал горбатых, выключил снег, рывком расчехлил скрипку, деловито-деланно подстроился, будто сто лет не строился, и рванул! Искры посыпались со струн, из глаз! Мостовая вся размякла и чуть не впитала его, как трясина, однако мужественный скрипач допилил «Зиму» и под восторженные крики «браво!» — как интересно кричат верблюды! — перешёл на «Весну». И его товарищи по квартету перешли, не запутались во временах, а потом в отдалённых странах они заработали по улицам кучи денег, но первый арбатский выход хранился в чистых закромах памяти как эталон победоносной борьбы с любыми верблюдами ужасного, запредельного страха. А ведь если разобраться — чего боялись?.. Выглядеть попрошайками? Да мы все попрошайки. Смелее, подстройся и рвани!

Рвану, решил Кутузов. Название улицы неизвестно, подвиг мой уместен. С книгой

наперевес он шагнул к прохожему, не успев разглядеть ни пола, ни возраста, и объявил:

— Это вам.

Прохожий машинально взял, прошёл метров пять-шесть, увидел мусорку и чуть не отправил к чёрту, приняв, естественно, за рекламную раздачу пробников. Семплинг — чума. На площадях не знают, что явление, до печёнок доставшее горожан, — именуется семплинг. Вы бесплатно, разок, получаете нечто, и потом будете, миленькие, платить сотню разочков, если сдуру вам понравилась наша белиберда. Рыбная ловля с поднятым забралом.

Рука прохожего уже было выполнила приказ обученного городского мозга, но на ней успел повиснуть перелетевший мимовоздухом даритель.

— Ты чё? — беззлобно поинтересовался хозяин чудом уцелевшей руки.

— Это же Библия! — провозгласил Кутузов торжественно.

— А-а! — уважительно протянул тридцатилетний мужик, в свободной руке которого непредубеждённый наблюдатель углядел бы чемоданчик сантехнического направления. — Ну и чё? Ты... это... того?

— Я вам дарю эту книгу, — продекламировал Кутузов домашнюю заготовку. — Дарю.

— А чё — сёдня Восьмое марта? — уточнил мужик абсолютно серьёзно.

— Сегодня восьмое мая, — непонятно как вспомнил Кутузов.

— О! завтра День Победы! Слышь? Завтра Победа наших войск над немецко-фашистскими захватчиками! — с великолепной чёткостью отчеканил сантехник. — И парад на Красной площади!

— Да ну? — вошёл в поток профессор. — И чё? Не возьмёшь?

— А почём? — задумался мужик, минутой раньше почти выбросивший книгу в помойку.

— Бесплатно.

— Даром? Такое?! Ты чё — сектант? — посуровел сантехник.

— Не. Я не сектант... — И тут, лихорадочно придумывая продолжение, он выдал: — У меня жена умерла.

— Ну, царство ей небесное, — разрешил мужик и провёл по волосам рукой вместе с Библией, которую всё-таки удерживал и уже не торопился вернуть Кутузову. — Тогда возьму. Раз такое дело... ну чё, там смотри давай.

Забыв о Кутузове, мужик сунул Библию в чемоданчик с инструментом и пошёл своей дорогой, очевидно, полностью разрешив для себя возникшие по случаю вопросы.

Оглушённый Кутузов не решился посмотреть вослед. Одной книгой меньше,

горечи почему-то больше, и не от ухода в чужие руки любимой подруги, члена большой семьи, состоящей сплошь из сестёр, а мелко, тупо: саднящая простота минувшего контакта стёрла со всех возможных последующих всю возможную патетичность. Да ещё вылезла, уже точно вопреки заготовке, *жена, которая умерла*. «Вообще никого не касается; моё личное дело! — чуть не закричал Кутузов. — Зачем я ляпнул?» Но ведь оно и сработало, возразил удав, невесть как подкравшийся к авансцене. «Чур тебя!» — всё-таки крикнул профессор удаву, и рядом с ним тут же остановился молодой человек в синеватой форменной одежде:

— Ваши документы?

— Дома... или, погодите, одну минуточку!.. — Как ни прост был Кутузов, как ни целинна была девственность его социализированности, но смекнул, что его самодеятельность по одариванию прохожих Библиями вот-вот прервётся самым казённым образом, и даже Аня не сможет его выручить.

Шустро и радикально учит человека идея фикс! Местами облагораживает и обновляет. «Идея, овладевшая массами, становится материальной силой», — завещал нам великий и бородатый. А идея, овладевшая массой волос и заставившая их пошевелиться на голове, — такая идея и мозги расшевеливает. И просыпается в урбанизированном тюфяке мигом умудрённый городской сумасшедший. Просыпается как призвание. Восстаёт как маршевая песня души. Будто роги протрубили!..

— Я тут, понимаете, — залепетал Кутузов, опустив глаза, — книжечек прикупил...

(До сих пор никто не понимает, как удалось ему выговорить мякинное словцо: *прикупил*! Он ненавидел его так же яро, как *подкупить* в значении купить ещё, дополнительно, и *якобы* — в основном значении.)

— И что? — грозно сказал городовой безо всякой вопросительности в интонации.

— А денег не хватило, я им паспорт оставил, сейчас бегу домой за денежками...

(Ещё подвиг: *денежки*! Любого, уронившего чавкающую кляксу *денежек*, ему или при нём, раньше, он мог и убить. Взглядом, конечно. Называть *деньги* денежками — тяжкое преступление против хорошего вкуса; всё равно что внушать малышам, *якобы* пирамиду Хеопса построили рабы...)

Однако, совершив два подвига за одну минуту, он, кажется, заслужил амнистию. Милиционер посмотрел на *книжечки*, на видавшую виды суму, откуда они были немедленно извлечены владельцем, и сказал:

— Завтра праздник, отец, ты не ходи без документов. Режимный день. Сам понимаешь. Да и магазины завтра не работают.

Кутузов, чуть не кланяясь, поблагодарил *мента* (он знал, знал, как они все

называются!) за пассаж с применением *отца* и сообщение о магазинах. Милиционер ушёл беречь Москву, а Кутузов полчаса не мог перевести дух.

Наверное, точка неудачная, решил он и чужестранцем почесал по улице, оглядывая праздничных горожан и дома первобытным, широкополосным оптоволоконным взором.

Цивильный марсианин в пещерах неолита бродил бы увереннее, чем наш неофит просвещения по родному городу. Никогда ещё не встречал он сразу стольких москвичей одновременно, поскольку раньше их не было на улицах Москвы, ни одного. Раньше по городу шли тени в пальто, с пустыми головами, полными образования, в составе коего был удивительный пиетет к выдуманной абсолютной персоне. Кутузов мнил Его персоной, так сказать, гипер-ви-ай-пи, а книгу, воссоздавшую Его деяния, чудеса и проповеди, чем-то вроде личного дела. Он и собирал-то эти книги, будто шил большое-пребольшое дело. Профессор и доктор, он не успел написать вожделенную диссертацию, полагающую конец богоискательству человеков, уловленных в соответствии с Евангелием от Луки, 5:10: «...И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков». Теперь Кутузов писал диссертацию ногами.

До жути бесило его каждое слово десятого стиха! Раздражало всё, включая собственную причастность к роду человеческому, позволившему таки половить себя и уловить. Ни единый документ археологии, вполне доказавший, что две тысячи лет назад события произошли в видимом мире, ничего не доказал ему лично, поскольку он точно знал: история — слишком живая наука, регулярно переписывающая сама себя.

Ведь исчезла, скажем, классовая борьба, без упоминания которой и солнце не всходило во время оно. А объявили перестройку — и кончилась газетно-классовая заваруха. Заглох вечный двигатель исторического развития. Убрался гегемон. Колхозница на прощание непристойно подмигнула рабочему. Вот-вот пересмотрят концепцию прогресса.

«Вот и возьмите себе её, дорогие мои москвичи, возьмите вашу самую почитаемую, но нечитаемую, так сказать, великую нечитаемую книгу, — и полюбуйтесь. Прочитайте наконец это компилятивное сочинение, несите в свои дома, пусть вам будет, если сможете, лучше. Или хуже, — как пожелаете! Но теперь я вас всех насквозь вижу! Я один сопротивлялся мракобесию. А у вас даже президенты с мэрами крестами обмахиваются. Поздравляю.

Вы — не удержали пламенное золотое знамя Мысли! Вы — родили новосибирцев , которые родили доклад, который породил в голове министра пресс-конференцию,

которая породила в семье смуту, которая убила мою жену, которая оказалась дурой-анонимщицей безносой, которая не уловила запах газа, который сама и включила! Видите, как всё сошлось!»

Чувствуя волну, которой даже имени нет, ярость, белее снега зимой, Кутузов задохнулся. Видимо, рановато выпустила его Аня. Надо было дать профессору ещё полежать, отомлеться на журнальном столике под пирамидой, поплакать у подножия своей возлюбленной. «Как она там? — вдруг встрепенулся он. И неясно, где дом, в котором он безалаберно бросил всё своё богатство, свою сущность, свою любовь. — А вдруг Аня опоздает? Да где же я?»

Люди шли, шли, у всех оказались и лица, и пальто, и никто не хотел читать Библию. С ума все посходили! А президенты?.. Столько разговоров, такая обширная научная литература, небесный пафос, «библейская тема в романах имярека» в горах диссертаций! О, твари дрожащие! — затрясся гневом Кутузов.

Толкнув кого-то и не заметив, он услышал:

— Простите, пожалуйста, у вас нет носового платочка?

— Нет, — бросил Кутузов, продолжая движение, но вопрос перепоставили иначе:

— А у вас нет бутылочки с водой?

От бутылочки, вздрогнув, Кутузов чебурахнулся в мир невинных людей, обернулся и увидел мальчика лет восьми с разбитым носиком. Текла кровь, а смущённый ребёнок явно хотел, чтоб она перестала течь, плащик испачкает. Вот, уже испачкала.

Вид крови для любого мужчины — шок, но иногда и положительный. Кутузов опомнился:

— Что с тобой? Кто тебя?

— Вы... Случайно. Простите меня, я сам попался вам под руку. Платочка нет?

Кутузов пошарил по карманам, оглянулся, увидел вывеску «Аптека» и потащил туда малыша. Тот пошёл покорно, только носик поднял и голову запрокинул.

В аптеке все сразу всё разглядели, выбили чек на вату и салфетки, но денег у Кутузова с собой не было, и он машинально протянул в кассу Библию, искренне полагая, что тут наверняка сработает.

— Папаша, я ведь кассу вечером налом сдаю! — усмехнулась кассирша, подумав, дядя шутит.

— У меня нет денег, возьмите книгу, она хорошая, коллекционная...

— Да и без вас читала, хорошая, как же! Эй, Мань, тебе опиума не надо? У тебя вроде сынок ударился в это дело...

«У Мани есть сынок, и тоже ударился», — сочувственно подумал Кутузов.

Уборщица Маня приостановила свой труд, побрела в сторону кассы, но ей наперерез рванул бритоголовый — откуда они только берутся в неожиданных местах! — с короткой шеей и недвусмысленными бицепсами:

— Что, мать, совсем уже? Думаешь, если в аптеке пашешь, можно сынку и травку, и герыч, мож, ты сюда устроилась тырить?! А ты, — зыркнул он на кассиршу, — сейчас ребят позову, они поговорят и с её сынком, и с тобой, курва...

Короткую немую сцену, пока и Маня, и кассирша глотали воздух, счастливым образом прервал ребёнок. Отринув и беспокойство, и платочковый стиль, он степенно подошёл к скинхеду и внятно изложил:

— Ты, дяденька, идиот. Опиум упомянут в значении *религия*, а у моего старшего товарища с собой Библия. Я тебе покажу, как время моё тратить и кровь! Разговорился тут...

Обнаружив себя товарищем пострадавшего, Кутузов обмяк, но не без удовольствия досмотрел, как малыш прицыкнул, притопнул и практически выгнал чрезмерно бдительного посетителя из аптеки — без покупки.

Тётки, оправившись, расхохотались, подарили ребёнку всё за свой счёт, а Библию велели Кутузову домой нести.

На улице профессор неловко потрепал мальчика по плечу и на всякий случай спросил имя. Мальчик охотно ответил, что вряд ли Кутузов его запомнит, ведь такой рассеянный.

— Почему? — изумился Кутузов, хотя вряд ли стоило так уж изумляться.

— Видите ли, я всех вижу насквозь. Слышали про детей индиго?

— Кажется, да, или не кажется... Не знаю, — честно сказал профессор. — Вроде мумбо-юмбо?

— Нет, — хладнокровно сказал мальчик. — Но ещё услышите. Если доживёте...

— До чего? До чего я доживу?! — оживился Кутузов, но мальчик уже ушёл. И как же удалось ему так быстро исчезнуть, непонятно.

Кутузов устал, и тягуче, колко заболели ноги, особенно ступни. Помимо воли память выбросила суеверный шёпот жены: «Когда болят ноги, значит, не туда идёшь».

Тьфу, пропасть... Он всегда смеялся над её верованиями в болезни-не-туда-идёшь-не-там-сидишь-не-то-читаешь и прочая. А тут вылезло!

Ноги ныли все сильнее, горели пальцы, дёргало в пятках. Ботинки были отличные , не тёрли, не чуялись, но дискомфорт нарастал.

Ладно, плюнул Кутузов, где в этом городе отдыхают сидя? Где скамейки нашей

молодости? Протаскавшись ещё полчаса, профессор узнал: изведены скамейки под корень. Сидеть в Москве негде. А жить? Как тут жить?

Ух ты, наконец! Название: проспект Мира. Оказывается, всё это время он болтается по миру! Ну хоть что-то.

Слова, слова, их игра всегда приводила профессора в рабочее состояние; и сейчас удачно переглючило, и сам подвернулся миленький скверик, а на дорожке — белая грязная лавочка.

На неё было страшно смотреть: бумажки, пятна, следы лужиц и разводы радуги. Он брезгливо и обиженно поморщился, поскольку в ногах началась африканская агония, их дергало, жгло, давило и скручивало. И он рухнул на непрезентабельную поверхность и коротко поглядел-проверился, не видел ли кто.

Видели! Метрах в пяти на бордюре сидели двое, кажется, мужчина и женщина. Очи обоих, синие до лиловости, смотрели, кажется, прямо на его прекрасные саламандровские ботинки. И вроде бы с соболезнованием.

Налюбовавшись и приняв немудрящее решение, бомжи поднялись и очень медленно, приволакивая, приблизились.

— Мужик, а мужик, — сказала кажется-женщина, покрытая слоем чего-то несмываемого. — Закурить имеешь?

Кутузов покачал головой, подозревая, что его лексикон неполон для общения с этой социальной группой. Кажется-женщина ничуть не удивилась. Её кажется-мужчина сказал:

— О-хо-хо-о-о... День-то какой! А бабки есть?

Кутузов покачал головой, обратив своё внимание на то, что язык его жестов эта группа воспринимает вполне адекватно.

— А что есть? — спокойно уточнила кажется-женщина.

— Библия, — разомкнул уста профессор, ни на что не надеясь.

— У, клёво! — возвеселились оба. — Давай!

— В каком смысле? — не понял Кутузов, не предполагавший такого эффекта. — Библию не курят.

— Обижа-а-аешь, — дружно сказали они. — Нам бы почитать. А то, знаешь, в нашей библиотеке всё дамские романы, детективы, словом, одноразовое чтиво, а нам бы чего-то нового, свежего...

— Да уж, новей не бывает, — вздохнул Кутузов и вытащил книгу.

Странное действие произвело явление Библии этой страте народа. Бомжи выпрямились, даже ликами посветлели, мужчина перестал казаться, шагнул вперёд и

попросил:

— Давай, а? Мы тебе плохого не сделаем... ты нас не бойся. Все мы люди, все мы человеки.

От *человеков* Кутузова замутило.

— Так вас и ловил тот *ловец человеков*? — тихо сказал он, не думая обидеть.

— Ох, кто нас только не ловил, — усмехнулась женщина, и обнаружилось форменное лицо, а невидные давеча глаза оказались тёмно-голубыми.

Была не была! Интересно же. Кутузов отдал им книгу. Бомжи с поклоном взяли, кивнули, потоптались пару секунд, а мужчина молвил:

— Спасибо тебе. Завтра праздник великий, а у нас теперь и подарочек!

Обнявшись, пара заковыляла прочь, а потрясённый Кутузов ещё долго сидел на грязной белой скамейке, пока не заметил, что ноги уже не болят.

Глава 29

За чем пойдёшь, то и найдёшь. Полно браниться, пора подраться. В болоте тихо, да жить там лихо. Без шуму и брага не закиснет. Первая брань лучше последней

Магиандру ещё в школе показалось, что история слишком пластична. Он родился в год последнего демографического взрыва в СССР, в 1987-м, а учился уже в независимой России. Школьная история жалко путалась у себя самой под ногами, наступала на мозоли, грабли, а дети в тоске бросали учить — неразбериха. Зависимость интерпретации от актуального цвета времени резала глаза.

Озадаченный коллизиями стиля, он факультативно почитывал советские учебники . Изумлялся: как это листья в те времена на деревьях осмеливались распускаться зелёными, почему партия и правительство допускали вольность? А мичуринцы на что? Враз привили бы одно к другому, что уж там, покраснела бы листва как миленькая.

Однажды он огорчился пассажем из «Манифеста Коммунистической партии», базового документа, казалось бы, но стиль! Несусветная путаница! Он перечитал пять раз и не распутал: «Разговоры о свободном торгашестве, как и все прочие высокопарные речи наших буржуа о свободе, имеют вообще смысл лишь по отношению к несвободному торгашеству, к порабощённому горожанину Средневековья, а не по отношению к коммунистическому уничтожению торгашества, буржуазных производственных отношений и самой буржуазии». Коммунистическое уничтожение торгашества? Разговоры «имеют вообще смысл лишь по отношению» — к чему?! А если

торгашество, то чем отличается несвободное от свободного? Торгашество — оно и есть торгашество.

Ужас. Как соглашались умные взрослые люди умирать под бесформенными знамёнами? Юному стилисту было больно. Прошлое, говорили все, крайне важно понять . Э*то* можно понять? Наборщик Энгельсу и Марксу, верно, нетрезвый попался.

После забористой манифестации отеческой любви, оставшись наедине с небиблейской частью домашней книготеки, студент пошёл по тропинкам, обескураживши его школьником. Отец не войдёт в кабинет и не заберёт книгу. Драгоценности, коллекцию, он унёс целиком, не оставив ни книжулечки, ни листочка. Философию же кинул дома, с вызовом, подчёркивая бросовость. Посмотрим.

На философской полке ровными рекламными зубами стояло учёное наследие, оставленное человечеству мужами, мывшимися по выходным.

Как интересно: все философские книжки — одного формата! Магиандр впервые обратил на это внимание. А в художественном отделе — вроде чересполосной толчеи молочных и постоянных зубов: и полный формат, и половина, и четвертушка.

Тут — не-е-е-т, никаких изобразительных вольностей! Все равны, равнение направо!

Собиравшийся сразу взяться за чтение, сейчас он не мог оторваться от созерцания *просто полок*.

Философский ряд был неоднороден только в степени захватанности членов. Приглядишься — зубки-то местами кариозные!

Пригляделся Магиандр: самые затёртые, затроганные, умученные тома — оказывается, Дарвин. Антикварное чудо столетней давности. Он и не знал, как респектабельно и красиво иллюстрированное собрание сочинений Чарльза Дарвина. Форматом — чуть повыше прочих. Небесно приятные на вес и на ощупь: уверенные, твёрдые, а корешки бархатистые. Начал полистывать, вникая в экзотические пристрастия отца.

...Нет, он этого не хотел! Он даже в мыслях не!..

Он позвонил мне, пытаясь процитировать, в слезах, и чем больше пытался, тем горше рыдала мне в ухо телефонная трубка.

Проблема родилась и укусила, и загрызла, когда младший Кутузов — поэт от рождения, глубоко верующий мальчик, только что осиротевший, — будучи в тяжком состоянии духа, открыл книжное хранилище своего отца. Жестокий урок от сбежавшего невесть куда и зачем, но с юной блондинкой, — полоумного профессора.

На совершенно законных моральных основаниях мальчик полез туда, куда раньше

хода ему не было. Отец создал ему отдельную книготеку, а в свою не пускал никого.

Он кричал мне в трубку: нельзя жить, когда столько лжи кругом. Надо же, хотела сказать я, — но следовало потерпеть. Вдруг дело не в простой истерике, а какой-нибудь золотой, — мало ли что снесла с утра вселенская ряба!

— Это же поэма! Я прочитал полстраницы, и лицо моё само стало расплываться! Я улыбался, как ребёнок — небу, игрушкам, умилялся, радовался и веселился! Вы себе не представляете, что это за чудо!..

— Что за полстраницы? Давай, я тоже хочу радоваться и веселиться, — неосторожно пожелала я.

— Что там полстраницы!!! Я эти сочинения практически все проглотил, за уши не оттянешь, о, какой я дурак, что раньше не понимал своего бедного... у-у-у-у...

Разговор временно прервался, а когда возобновился, голос Магиандра был сух и ровен, и прочитал он мне, время от времени останавливаясь, чтобы я не слышала, чего это стоит:

— «...“Сложение самца нежнее и нрав его кротче; голос его ограничивается тихим шипением или ворчанием, когда он рассердится”. Он не только выполняет все обязанности высиживания, но должен защищать птенцов от их матери, потому что “как только она увидит своё потомство, то приходит в сильное возбуждение и, несмотря на сопротивление отца, употребляет всевозможные усилия, чтоб уничтожить птенцов. Целые месяцы спустя опасно сводить вместе родителей, — между ними происходят неминуемо ожесточённые драки, в которых самка обыкновенно одерживает победу”. Таким образом у эму мы имеем случай совершенного извращения не только родительских инстинктов и инстинкта высиживания, но обыкновенных нравственных качеств обоих полов; именно самки бывают дики, драчливы и шумливы, а самцы кротки и добродушны. Совсем другое замечается у африканского страуса, где самец обыкновенно крупнее самки и украшен более красивыми перьями с более резким контрастом цветов; несмотря на это, он принимает на себя всю заботу высиживания»... — И еле дочитав поэму, несчастный ребёнок задышал часто-часто, вероятно, почувствовал себя страусёнком эму, над невинной головой которого ожесточённо дерутся старшие.

Выждав минуту, я сказала как могла мягче:

— Знаешь, когда у меня умерла мама, я тоже находила совпадения везде, во всём и со всем. Я не могла петь в школьном хоровом концерте ариозо матери из кантаты « Нам нужен мир», а я там солировала, — поскольку в тексте были слова «все люди спят, но мать не спит сейчас»... Ты слышишь, а, Магиандрик? Мне было тогда двенадцать лет!

— Слышу... Вы понимаете, Дарвин оказался... поэтом! Вы решили, что у меня припадок сиротства, так и есть, конечно, только моё открытие перешибает всё остальное горе, добивая меня. А перья!.. всё это потрясающе, это я про сочинение «Половой отбор », это он после «Естественного отбора» так отстреливался от критики, — такие перья!..

— Он писал перьями? — Я старалась и быть, и казаться невоспитанной и бесчувственной дурой, чтобы мальчику легче было возвыситься и заспасать меня от глухого идиотизма, в том числе морального.

— Елена! «Сохраняя, однако, в памяти полосатые перья ублюдков от различно окрашенных кур и чрезвычайную изменчивость глазков у многих чешуекрылых, можно предположить, что образование этих великолепных украшений не должно быть очень сложным процессом и зависит, вероятно, от какого-нибудь лёгкого и постепенного изменения в природе тканей». И так — всё! Он до крика восхищается миром! Восторг на каждой странице, он стекает с каждой строки мёдопадом, нектароструйное письмо...

— Ты, кажется, влюбляешься. Давай-ка я тебя успокою: открой первую главу сочинения «Происхождение человека и половой отбор», в пятом томе...

— А вы... читали? — видимо, не помня себя, обрадовался Магиандр и, листая собрание, всё бормотал мне в трубку что-то романтическое. И вдруг: — О! У-у-у... Вот так так! Глава один. Называется «Очевидность происхождения человека от какой-нибудь низшей формы». Вы знали, ой, конечно, вы знали, где искать. У вас есть?

— Нет, к сожалению, очень дорогие книги, достать нигде не могу...

— Зачем вам их доставать? Запретный плод сладок? — стал приходить в себя Магиандр.

— Мальчик, давай не хулигань. Как там у твоего новообретённого любимца: « Спрашивающий пришёл бы вскоре к важному вопросу о том, размножается ли человек настолько быстро, чтобы это могло послужить поводом к жестокой борьбе за существование и вследствие этого к сохранению благоприятных видоизменений, как физических, так и умственных, и к уничтожению невыгодных свойств». Второй абзац...

— Значит, вы знали, что Дарвин поэт? — не расслышав сути моего цитирования, закипел он.

— Ну-у, как тебе сказать... Как-то пока мы всё о другом...

— Почему вы мне не сказали?! — разозлился Магиандр. — И почему вы никогда не говорите об этом по радио? Вы только посмеиваетесь над старым, как вы говорите, полупастором. Вы даже слово «Дарвин» в эфире произносите как ругательство, я же слышал, а правду не сказали ни разу!

— А как надо было сказать правду? Поведай, пожалуйста.

Но мальчика несло под гору. Он не слышал меня, он ненавидел меня и, как оказалось, за небрежные и неоднократные рефрены в эфир, что Дарвин долго жил в городке под названием Даун. Дескать, что там родишь! Только соответственное. Роняла камни в эфир, а правду не сказала, а правда в поэзии, — вот сию секунду Магиандр либо взорвётся, либо я должна пообещать ему, что, когда выйду на работу из отпуска, я покаюсь перед слушателями и скажу правду, что Дарвин просто великий поэт и с него взятки гладки. И что он там навыдумывал о естественном отборе, а потом о половом, всё — род мистики, его собственная эзотерика, и вообще в 1840—1870-х годах было модно петь прогресс.

— Именно так и должна выразиться в эфире, когда выйду на работу? — уточнила я, обнаруживая, как близки друг другу все *эти* Кутузовы.

— Да! — строго сказал мой собеседник. — Я хочу хоть раз в жизни услышать по радио правду. Я требую. И вы не откажете мне сейчас...

Пора было стукнуть его по заднице, но мы беседовали по телефону. Точно зная, что истерика жаждущего правды радиослушателя никогда не прекращается даже ввиду естественной усталости материала, а только возрастает ввиду кажущейся близости микрофона, — ведь он разговаривает с радиоведущей! осталось только довложить в её мозги чуточку истин, и всё! — я положила трубку.

Глава 30

Один в грехе, а все в ответе. Такие воры, что из-под тебя лошадь украдут. Кошка лазит и в окошко. Вор и сытый, и обутый, и одетый украдёт. Шмель проскочит, а муха увязнет

Кутузов очнулся: рядом стояла женщина в белом халате.

— Что с вами? Плохо? — спросила она тоном, по которому профессор определил врача. Халата недостаточно; тон!

— А что случилось? — не понял он и огляделся. — О, я заснул? Который час?

— Вы уверены, что вам не плохо? — переспросила женщина. — Может, позвонить кому-то?

— Я забыл мобильник... — Он встал, предъявляя врачу здоровье. — Просто устал. А вы откуда?

— Мы были на вызове, иду — вы, ничком... Ваша сумка? — задала она не вполне медицинский вопрос, и Кутузов удивился.

— Моя. — Он уверенно подхватил свою древнюю суму и вдруг понял: она пустая.

Третий томик исчез!

Кутузов, побелев, распахнул сумку, плюхнулся на лавку, стал копаться на дне, вывернул наизнанку, потряс одержимо, но внутри действительно ничего не было.

— Вас ограбили? — почему-то успокоилась женщина, очевидно, профилактируя терроризм. В рамках борьбы вся Москва давно приглядывала за бесхозными сумками, но Кутузов этого не знал.

— О Господи... — вырвалось у него. — Там была одна книга!.. И теперь я не знаю , у кого она!

— У вора, наверное, — сказала женщина, поворачиваясь к ожидавшей поодаль карете «скорой помощи». — Но воры — не наш профиль, обратитесь в милицию.

Подавленный разворотом сюжета, опустелый, Кутузов тупо глядел на развороченную сумку и не мог понять, как он ухитрился проспать самое дорогое. Он вспомнил, как болели ноги, а потом перестали болеть, а он, видимо, так устал, что действительно заснул. Надолго?

Скатав праздную ёмкость, он пошёл узнавать время, поскольку и часы тоже остались на даче. Собственно, его часы всегда где-нибудь оставались: то на кафедре, то на кухне. И всегда возвращались. Студенты просто не покидали аудиторию, не пройдя мимо его стола, чтобы в очередной раз убедиться: профессор забыл свою «Славу».

Улица гуляла и кипела, но теперь Кутузову было скучно. Посреднический купон, личная валюта, предмет разговора с миром — пошло украден, и ему нечем обратить на себя внимание москвичей, да и гостей столицы. Невероятно. Офонаренно, как выражались его студенты. Всё утро совал кому попало, уговаривал, в аптеку бегал, думал , чувствовал и страдал, и вот — на тебе. Стоило вздремнуть на грязной скамейке — вопрос решился сам собой.

От изумления Кутузов проголодался. Денег нет, Аня — вечером. Когда это будет? Опаздывать он не мог. Он вообще, кстати, никогда не опаздывал, несмотря на странное обращение со своим хронометром.

«Ах ты, зараза! — в сердцах подумал о воре Кутузов. — Что такое вор? Как он выглядит? *Какой у меня сегодня вор?»*

Сложив эту глубокую мысль, неплохо, правда? — вроде *какое тысячелетье на дворе*, — он приободрился и смело спросил у прохожего, который час.

Прохожий оказался неветхим старичком с медалями, — очевидно, подготовился к завтрашнему юбилею. Симпатичный старичок среднего росточка, чисто бритые складки хитроватого лица, серебро на висках, и, что особенно понравилось Кутузову, незначительная растительность на темени и макушке была смело отчёсана строго назад,

безо всяких уловок заёма с боку на бок. Темя загорелое: видать, участок роет и клубнику выращивает.

Ветеран не остался в долгу и тщательно разглядел Кутузова. На это ушло некоторое время, поскольку за своими часами ветеран полез в карман — и вынул брегет. Вот те на! Не зря Кутузов провёл годы в антикварных лавках: часы были настоящие, те самые, вечные. «Уважаю!» — подумал он.

Дед, естественно, ждал эффекта и, получив, отомлелся по полной программе: кнопочка, крышечка, стрелочки, всё было как бы мимоходом продемонстрировано с медлительностью и чувством.

— Шестнадцать часов шестнадцать минут, — объявил он наконец.

— Сколько же я спал... — проговорил Кутузов, а дед не удивился.

— Пойдём, сынок, наркомовские примем, душа просит! — пригласил ветеран.

Встреча развивалась успешно. До Ани почти два часа. Голод усилился.

— Я, правда, не пью... — неловко согласился Кутузов, но ветерану эта прихоть случайного знакомца была безразлична. Праздник — завтра, но и сегодня праздник, подписание капитуляции, так чего уж там, и сколько еще таких дней осталось на Земле...

Как по волшебству, в трёх шагах обнаружилась вполне приличная кафешка, в которой уже гудели. В атмосфере и обстановке было всё необходимое для праздника. Дед сам указал подлетевшей девице, что делать, и пока недопроснувшийся Кутузов озирался среди новизны, пиджаков, рассыпанной по столам соли, плотного дыма, полупустых бутылок и смеха, дед и девица сплочённо режиссировали поляну.

— За Родину! — сказал ветеран, поднимая стопку, и чуть погромче: — За Сталина !

Кутузов никогда не пил водки. Поэтому, и не только поэтому, Кутузов никогда не пил за Сталина. Но в мизансцене, втянувшей и принявшей профессора, не было ни одного квадратного миллиметра площади, куда можно было бы поставить *свой* отказ выпить. Он взял стопку, посмотрел на ветерана, солнечно улыбавшегося миру, городу и Кутузову, — и махнул не глядя.

Сложите вышеописанный день с одной, но первой в жизни пятидесятилетнего человека, рюмкой водки. Да, обжигающе тепло, и непонятно, как её пьют беспартийные, — он откуда-то знал эту присказку, и она прозвучала в самом сердце.

Кутузов увидел на столе закуски, то есть именно сейчас он их увидел, а стояли они там ещё до дебюта. Нечеловеческий голод после рюмки немного притих, но оставался человеческий. Профессор осторожно тюкнул в селёдку самые кончики вилочных острий, но понятливый ветеран, приподнявшись, быстро и красиво наполнил

тарелку недотёпы всем понемногу и на своём примере показал.

Кутузов не знал, что даже первые сто граммов действуют лишь через час, и когда закуска затёрла, приглушила сивушные фракции, высказал удивление — чтой-то водка некрепкая какая-то? Очевидно, профессор ожидал быстрых тектонических сдвигов, но всё не так в этом мире, как мы думаем, эх, братец Кант Иммануил, драть тебя некому...

— Знаете, — наконец открыл опустевший рот Кутузов, — что агностицизм — это философское учение, отрицающее возможность... ой... достижения человеком достоверного познания объективного мира, знаете?

— Закуси ещё, — согласился дед. — Мы этих немцев знаешь как тогда учили, в мае, уже и ярость устала, а всё поднимается что-то с самого дна, и всё больше... и объективно.

— Вы думаете, Кант ошибался? Мир познаваем? — искренне заинтересовался профессор.

— Ещё как познаваем, — утвердительно кивнул дед. — Накатим? По второй?

— Давайте.

— Да что ты как неродной? Давай!

— Давайте.

— Ну ладно, давай*те*... — улыбнулся дед и накатил по второй.

Как всем известно, вторая рюмка водки высекает абсолютно иные чувства. Они разительно не похожи на чувства, рождаемые, вздымаемые первой рюмкой водки. Вторая поднимает ввысь, и даже непьющий профессор начинает сомневаться, правильно ли жил доселе.

Бездна, куда и профессора бросает вторая рюмка водки, есть блазнящая, прелестная, коловоротная и ослепительная бездна, токмо пребывает она в вышине, а не в подвалах, под образующими литосферу плитами, на пути к не виданной человеками магме, про которую все слышали. Говорят, есть уверенная в магме секта, а ещё есть гриб , израстающий из-под плит, и — тьфу, совсем вы меня запутали!

Кутузов не подозревал, что пить водку так весело и приятно. Влюблённо разглядывая медали, он всё-таки спросил у ветерана, так, спокойно, между прочим, верит ли воин победоносной армии в Бога или в какую-нибудь ещё инстанцию, которая выше человека. Честно сказать, лично ему в этот сладостный миг ветеранова вера была без разницы.

Но у нас не забалуешь! Ветераны — ребята конкретные. Задача поставлена — выполняй. Положив нож на вилку, боец прищурился и объявил, что Бог есть и в этом не может быть никаких сомнений.

— Но мир-то познаваем? Ты же сам только что Канта застыдил! — напомнил ветерану Кутузов, неожиданно переходя на ты. — А если познаваем, то как ты познаешь того, кого не видно ниоткуда?

Профессор, конечно, не ведал, что подобные вихри, враждебные логике, веют исключительно в специально отведённых местах, на кафедрах и в диссертациях, а в мире живых людей вопросы познания решаются быстрее, проще и радикальнее.

Дедок, тоже не промах, мигом сообразил, что у сынка с головой проблема, и не стал приводить свидетельств явления Девы на поле брани. Это популярное в окопных мемуарах явление он давно простил своим товарищам, как живым, так и павшим. Он поступил иначе:

— А вот скажи мне, зачем Геккель наврал Дарвину, якобы у человеческого эмбриона сначала жабры, хвост, а потом он за девять месяцев всё-таки очеловечивается и рождается уже с лёгкими, без хвоста и даже улыбаться может?

— Как это Геккель наврал? — потрясённо переспросил Кутузов, никогда ранее не сомневавшийся, что плакат в школьном кабинете биологии утверждён министерством в качестве безусловно честного и научно обоснованного пособия для наглядности эволюции.

— Вот именно. Геккель — *господин соврамши*. Его потом учёное сообщество исключило из себя, но Дарвин уже к тому времени помер. А прохвост знаешь как сказал коллегам-академикам, когда его пристыдили: что ж ты, собака такая, всю эволюцию псу под хвост пустил своими подтасовками... Он сказал: вы, братки, не без греха, вам тоже славы хочется, посему все врёте, когда надо, а эволюция всё равно была, даже если это нельзя доказать!

— Налей ещё, — сурово сказал Кутузов, неприятно трезвея. — В стакан.

Ветеран притих, однако налил, но попросил Кутузова закусить покрепче и сам подложил ему оливье, колбасы, котлету и почему-то бублик.

Профессор влёгкую залил в желудок полный стакан водки, показавшейся невкусной водой, дожал её котлетой, повертел бублик и вдруг опустил голову.

— И что теперь будет? — спросил он тоскливо у ветерана.

— Да что было, то и будет, Екклесиастик ты мой! Ты где живёшь?

— У девушки, зовут Аня, скоро меня заберёт...

— А! Прима-а-ак! Понимаю, сынок, трудно тебе. Поневоле Бога помянешь...

— Да не примак я... — отмахнулся Кутузов. — У неё папа-мама за границей, командировка... у меня жена умерла, — бессвязно мотивировал Кутузов.

— А не примак — значит, кобель! Так я понимаю? — расхохотался дед и

подмигнул. За соседними столиками все тоже подмигивали уже, раскрасневшись и закусив.

— Скажите, — очнулся Кутузов, инстинктивно стараясь держать язык по курсу, но тот валился вбок, увеличиваясь в размерах. — А вы откуда всё знаете?

— А оттуда, — пояснил ветеран, ища глазами, куда бы положить сотрапезника, пока не поздно. — Где твоя Аня?

— На улице. Работает...

Поняв Кутузова по-своему, ветеран попросил парней соседнего столика подержать его друга прямо, а сам побежал на улицу за Аней, которая там работает. Вдоль тротуара действительно металась какая-то беленькая, и старик просто так, наудачу позвал её: «Аня?»

— Да! Вы кто? А, понятно, — унюхала, рассмотрела, — где тело?

— Детка, зачем же ты так? В твои-то годы?

— Что в мои годы? Где этот идиот несчастный?

— Там. В кафе. Его двое держат... Я говорю, зачем же ты на улице-то, в твои-то годы... нехорошо. В наше время шалавам ворота дёгтем мазали...

— Почему? Чем?! Вы... ладно. И вас с праздником. Пошли. — Она потянула бормочущего деда в кафе, не слушая, а то узнала бы, за что кому ворота мазали.

Кутузов уже пребывал в смешанном состоянии; жгучая смесь колыхалась, выталкивая вулканы видений, — Дарвина, плачущего на плече у *господина соврамши* Геккеля; офорта с глазами жены; ароматного моря водки; а также пирамиды мудрых книг, и каждая была живая, шевелилась, как младенец, и протягивала ручонки и звала папу.

Глава 31

В чёрный день перемогусь, а в красный — сопьюсь. Пошла изба по горнице, сени по полатям. Здравствуйте, мои рюмочки, здорово, стаканчики; каково поживали, меня поминали?

Похмелье — след опыта, злобно-дерридистски обучающий козлёночка, от какой лужи пыталась удержать его Алёнушка; но похмелье, с его дивными и страшными озарениями, обретается не сразу. Как нет на земле женщины, вымучившей таки себе оргазму в первую брачную ночь, так нет и пьяницы, сумевшего наутро унять первую в жизни дрожь интоксикации простым и проверенным методом: чем ушибся, тем и лечись. Все сопротивляются, не в силах жить, а о приёме верного лекарства поначалу и слышать

не могут.

Не мог слышать о водке и Кутузов, обнаруживший себя утром на журнальном столике, в пуховом спальнике, в окружении графинчика, лафитничка, икорки, лимончика и воды в пятилитровом кувшине с предусмотрительным носиком и краником. Поодаль в глубоком кресле задумчиво полулежала Аня, созерцавшая процессы и состояния: пробуждение, реанимация (пригодился лишь кувшин, правда, весь), осознание, паника, маниакально-депрессивный психоз и т.п.

— Да уж, — сказала она через полчаса, — опыт похмелья обретается по выслуге лет и выдаётся только истинным храбрецам познания.

Кутузов посмотрел на лимон и зажмурился. Прошло ещё полчаса.

По завершении цикла больной сумел что-то сказать, но неразборчиво. Аня приблизилась на цыпочках, взяла миску и съела всю икру, чтобы не пропало добро, пока зло неловко ворошилось у подножия пирамиды и само готовилось пропасть в огне стыда .

На великое счастье Кутузова, юная спасительница была умна и начитанна. Девушка пережидала стадии его материализации, мысленно перелистывая страницы великой русской литературы, содержащие описания похмелья и выходы из оного. Не обнаружив особого разнообразия, она приготовила профессору джакузи, заметив мимоходом, что ещё нигде в художественной словесности доктору филологических наук не давали ванну руками красивой богатой девушки, владеющей собственным мерседесиком.

— А сегодня День Победы, — выговорил доктор, прибавляя тонкий штрих к её живописи.

— И это всё объясняет, — вежливо согласилась Аня, вручая бойцу махровый парус. — Иди ложись на курс!

Джакузные пузырьки защекотали его до пяток, и он быстро привык жить, и даже понравилось. Ощущение реальности не возвращалось, осмыслить происходящее не представлялось возможным, и профессор отдался жемчужному фырканью воды, не рефлектируя.

Опознав махровый синий парус как халат универсальный, Кутузов завернулся и потащился в библиотеку. Плюхнулся в кресло и призадумался.

— У меня сегодня выходной, — поведала девушка. — У тебя тоже! — прибавила она чуть громче, но он и так всё понял.

— Тебе надо больше двигаться. В теннис играешь? — задала она риторический вопрос. — А... тут мы как все, да? Немодно, профессор. Вот теперь-то настоящий

учёный просто обязан уметь прыгать и плавать.

— По...чему? — собрал он несколько букв.

— Чтобы понравиться мне, — объяснила она. — Слушай, я не могу питаться одной икрой, пошли позавтракаем нормально. В столовой накрыто по-серьёзному, тебе понравится, а потом и попрыгаем. Хочешь покататься на велосипеде?

Внимая спортивно-икорным речам, Кутузов приближался к белому свету, так сказать, семимильными шагами. Аню послушать — все проблемы имеют решение.

— Хочу, — решился он. — Ты научишь?

— Понятно, — ничуть не расстроилась она. — Нарды, шахматы, компьютер? Буриме? Три листа? Крестики-нолики?

— Морской бой. Смешать, но не взбалтывать, — подхватил он.

— Молодец. Уважаю, идём веселиться...

— ...то есть в столовую.

— *То* едят в столовой.

Два мира, живу в обоих, несложно подсчитал Кутузов. Он смутно вспомнил вчерашний день. Лучше бы не вспоминал. А кстати, почему? А стыдно. Кого? Перед кем ? Деяние: вечером 8 мая 2006 года, накануне великого дня, человек с великой военной фамилией Кутузов напился водки с ветераном Великой Отечественной. Не стыдно, а просто здорово и правильно. Плохо, что за счёт ветерана, однако ж он сам пригласил. Были бы деньги у Кутузова — да без проблем! Все ветераны проспекта Мира пили бы за победу в войне и закусывали не хуже, чем он вчера.

Деньги как образ округлились, уплотнились, и проблема вернулась в полный рост. Аня добра и бескорыстна, однако живёт по карточке, наличных нет. Все запасные Кутузов, убегая, оставил сыну. Мастер, ныне оживляющий любимую книгу коллекционера, ждёт свои шантажистские три тысячи. Отказаться от книги невозможно, книга на крючке вместе с Кутузовым. Выход из безденежья расположен в Москве, больше негде, но пока не виден.

«А почему в Москве? — подумал Кутузов. — Проблема во мне, а моё — это пирамида. Надо у неё спросить...» Это была первая в его жизни попытка спросить о жизненном у Библии. Ведь гадают же по ней маловерные! Задают вопрос, назначают произвольно страницу и строку и находят ответ. Многие пользуются книгой как справочником по бездорожью. Сам он никогда так не малодушничал, а сейчас вдруг вспомнил о народной затее, открыл и прочитал: «Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти»*. Вот это да! Вот тебе и народная забава!

* Книга Притчей Соломоновых, 10:2.

Заметив блеклую печать мысли на влажном челе гостя, Аня почла за благо немедленно прервать утомительный процесс.

— «Все животные способны *удивляться,* и многие обнаруживают *любопытство*», — напомнила она.

— Я сейчас на всё способен, — отозвался он, удивляясь, что это он такое сказал. — «Членораздельная речь, однако, свойственна одному человеку, хотя он, подобно животным, часто употребляет нечленораздельные крики для выражения своих чувств, сопровождая их телодвижениями и игрой лицевых мышц». Сопроводить? Или мышцами поиграть?

— Да ты совсем расклеился, — огорчилась Аня. — Может, пойдёшь доспишь?

— Я думаю, наши отношения нереалистичны, — ответил он.

— Но реальны, — уточнила она. — Паронимия. Нормальная парность.

— Мой любимый писатель жизнь отдал парности. «Поэтому есть повод подозревать, как это ни покажется невероятным, что в данном виде и в данной местности не все птицы нравятся друг другу и, естественно, не все спариваются», — невпопад размялся учёный.

— Блеск. Это понравилось бы моему папе. Он тоже спаривается не со всеми, каждый раз недоумевая — почему?..

— Анюта, почему ты такая? Не бывает: умная, красивая, богатая, добрая — и всё в одной! Помнишь, в первую встречу ты спросила «куда?», я сказал «в кино» — и стало кино. Я только границы кадра не ощущаю, но кино — точно. Огромный экран, современный звук, объём и квадро, и всё прочее, включая запахи, новизну, водку, молодку, но — кино! Как мне побороть это?

— Зачем бороть? Само пройдёт. Ты всё раздал вчера? — внезапно перейдя с лирики на прагматику, решительно спросила она.

— Почти. Откуда ты знаешь, что я делал? — почти не удивился он.

— Я, как ты выразился, умная и в школе проходила композицию, сюжет, фабулу... Всё пока без неожиданностей. Ну ладно, ладно! Я видела, что твоя пирамида утратила три кирпича.

— Я банален? Или ты влюбилась?

— Ты предсказуем. Не знаю, конечно, дальнейшего, но пока всё ясно.

— Пойдём, ты поучишь меня прыгать за теннисным мячиком!

— И это просматривалось, конечно. Только нагрузка на сердце после вчерашнего ... нет. Лучше пешком погуляем, покажу тебе нашу латифундию подробнее.

— Ты омерзительно умна, — фыркнул Кутузов. — И вызывающе образованна. Будь ты моя студентка, я ставил бы тебе двойки, приговаривая, что всё списала. В твои-то годы! Цитатник ходячий...

— Сам такой. Больной, слушайтесь врача. Вам ещё столько предстоит!

— А сколько?

Гулять по новым латифундиям Подмосковья простой профессуре обыкновенно не доводится. И всё изумляет.

Конечно, Кутузов читал о ландшафтной архитектуре, но ступать по-свойски, без входного билета, не чаял. Аня восторженно показывала прозрачные пруды, горбатенькие мостики, раскидистые террасы, прохладные фонтаны, увитые беседки, а Кутузов молча давил в себе возбуждение классового чувства. Откуда вылезло?

— Может быть, ты подумал о профессорской зарплате?.. Никогда и тому подобное? — бесцеремонно прочитала его мысли Аня. — А в Эрмитаже тебя тоже мутит ?

В обед, вкусив целительного хаша, Кутузов окончательно воскрес и восстал. Вчерашний парад незаконного юродства вернулся в память в утомительных деталях, и профессор твердо решил идти в люди с иной музыкой. Раньше люди прятали свою суть от правящих инстанций, а теперь не прячут, и только он, вроде бы образованный человек , не заметил, что вся страна любит деньги. А не Библию.

Деньги! Выдать им всем, не понимающим величия человеческого духа! Под этим последним он понимал язык, образы, понятия и прочие кванты социальной психологии. Иные коннотации «духа» не рассматривались, поскольку чувствительно намекали на « душу», а у этой платформы его бронепоезд никогда не останавливался.

Эвересты денег, околдованная Россия. Бескрайнее поместье, приютившее странника и страдальца, вызывало бурные и крайне противоречивые чувства.

Кутузов обнаружил изменения в модусе бытия сограждан и неприятно поразился: когда успели?

Лично ему деньги нужны быстро и правильно, основательно, объяснимо: лечить и спасать залитую кофе, рваную, с отшибленной доской любимую подругу в серебряном окладе, с эмалями, царицу, красавицу. А безнадёжно плоским черепам нужны деньги по дурацким и пустяковым основаниям — им *хочется ерунды*; на деньгах помешалась Россия. Надо сделать и дать им деньги. Не дать им сделать, а сделать и дать, и посмотреть, как уникальные индиго и небрежные сантехники наперебой распахнут робкие сердца подлой мишурной истине, которая зашуршит и зазвенит по карманам.

Презираю.

Закрывшись в библиотеке, Кутузов ходил кругами, оглядывая свою пирамиду. Кутузов любовался ею, как Горький — будущими людьми, ну, теми, которые будут любоваться друг другом!..

Которых нет и никогда не будет. Все ошиблись. И ты, великая нечитаемая Книга, тоже ошиблась, и Моисей твой, и... сама знаешь. Никто тебя не хочет. Один лишь вор нашёлся, добрый человек, стянул привычно, а загадку великую нечитаемую по себе оставил. Приятный, милый, таинственный воришечка, умыкнувший у спящего на лавке профессора потёртую старую Библию. Кто ты, голубчик? Отзовись! Я хочу лишь одно спросить: если бы в сумке лежали деньги, ты бы взял Библию?

Всеобщий эквивалент, так вашу, классики бородатые, растак.

Глава 32

Поётся там, где и воля, и холя, и доля. Пой песню тот, у кого голос хорош. Шары, бары, растабары: белы снеги выпадали, серы зайцы выбегали, охотнички выезжали, красну деву испугали; ты, девица, стой, красавица, пой!

Магиандру нежно, до влюблённости понравился бородатый полупастор и его стиль. А перевод, выполненный лучшими русскими умами науки, Тимирязевым, Сеченовым, Мечниковым! По выразительности описаний, гибкости фразировки, вообще по изобразительной силе — почти Чехов! А научный подвиг, чудные, прекрасные подробности, крылья, лапки, хвостики, — Дарвин описывал мир и фауну с нежностью и страстью, — оторваться невозможно. Симфония. Поэма. А дело, навек пришитое ему одному, в то время как в победе обезьяны виноват фабрикант и меценат Энгельс! — несправедливо.

У Дарвина всё дерзкое и сомнительное выражено так изящно, мило! «Что касается до величины тела или силы, то мы не знаем, произошёл ли человек от какого-нибудь сравнительно малого вида обезьян, вроде чимпанзе, или такого мощного, как горилла; поэтому и не можем сказать, стал ли человек больше и сильнее, или, наоборот, меньше и слабее своих прародителей».

Сомневается! Мы, говорит, не знаем! Выросли мы либо усохли — науке не известно. Добела закипая от основной мысли Дарвина, юноша мучительно восторгался плавной медлительностью подачи, педантичной красотой и тщательностью учёной отделки текста.

«При этом нужно, однако, иметь в виду, что свирепое животное, обладающее

большим ростом и силой и способное, подобно горилле, защищаться от всех врагов, по всей вероятности не сделалось бы общественным. Последнее обстоятельство всего более помешало бы развитию у человека его высших духовных способностей, как, например, симпатии и любви к ближним. Поэтому для человека было бы бесконечно выгоднее произойти от какой-нибудь сравнительно слабой формы».

Лапочка! Он выбирал нам, слабоумным, выгоды! Мотивировки любви к ближним ! Он и сам, выходит, решительно не доверил бы общество горилле. Он понимал, какие беды несут грубость и неотёсанность вкупе с победительными зубами, — ах, солнышко! Горилла, круша врагов, не стала бы общественной! Милый... А кто, интересно, стал бы? Крушить врагов — услада столь богатая, захватывает по горло, за горло, — ни за что не отстанешь от лакомства и просто некогда будет произойти в человека.

А как он верил в грядущее развитие! Настанет, настанет светлый день, — если, конечно, все будут спариваться впредь более разумно и не спеша приращивать человечество силачами и красавицами. Любовь людей — неправильная!

Собственно, только эта помеха — неразумность любовного выбора — и стоит на пути прогресса. Всего ничего. Совершенные любовные связи, безукоризненный выбор половых партнёров — и всеобщее благолепие обеспечено. Детали: остались пустяки — наладить всемирное сознательное сватовство... Так?

В развитии человечества по Дарвину ему, Васе Кутузову, православному мальчику , показалась неуместно завышенной роль ревности. Батюшка в церкви однажды рассказывал о губительной силе ревности, о греховности ея, подобной гневу и гордыне.

Но сегодня, вчитавшись в Дарвина поглубже, Вася понял сам, что никак иначе спасти нельзя ни теорию естественного отбора, ни практику полового. Без ревности ни человек, ни семья, ни частная собственность, ни государство невозможны, что всему миру доказал исключительно дотошный учёный из английского Дауна.

Этот материал надо действительно в школе преподавать, решил Магиандр, но не по биологии, а по основам безопасности жизнедеятельности, развитию речи, домоводству и ботанике. Упоительное чтение, блистательный нарратив! А в институтах — по методике исследовательской работы, стилистике плюс на тренингах по выживанию : перелопатить столько источников и продвигать одну-единственную идею десятилетиями, теряя при этом и чувствительность к поэзии и даже способность к восприятию классической музыки (на что жалуется сам старик в «Автобиографии»), и тем не менее стоять на своём: не могло быть однократного акта творения! Была эволюция от низших существ!

Заодно Магиандр нашёл у Дарвина рецепты создания идеальных романов: только

со счастливым концом, а в главной роли — женщина, и непременно хорошенькая. Выпуск романов с несчастливым финалом хорошо бы запретить законодательно! Так говорил Дарвин.

И всё стало на свои места! «Я понял!» — завопил Васька. Дарвин не от амёбы простейшей сомлел, нет, — ему чисто по-человечески, по-детски была противна идея любого неприятного финала! Апокалипсис там, да и само Распятие, — ужас какой-то. Наверное, юный Чарли, готовясь к священному служению, не смог без слёз читать историю Моисея, которому так и не довелось нормально пожить, от души, в обетованной земле, куда он всё-таки привёл своих людей. Несправедливо! И юный Дарвин раздумал работать пастырем, поскольку пропагандировать всю жизнь такие нечеловеческие ужасы было выше его умственных сил. Видимо, так.

Васька по полу катался, обняв Дарвина, и целовал столетние страницы, и ласковым словом называл. Азбучка! Грамматика гордыни в восьми томах! Намурлыкавшись, он побежал к телефону.

— Елена, здравствуйте, давайте всё-таки сделаем передачу про Дарвина! Я знаю как. И простите за прошлый раз.

— Я в отпуске, — улыбнулась я неугомонному добровольцу.

— Надо готовиться! Скоро отпуск заканчивается, я узнавал, звонил в редакцию, сказали, вы в следующий четверг будете в эфире!

— Не надо готовиться, всё готово. Меня хотят уволить.

— А как... кто же будет в четверг?

— Мой голос. Из старых запасов.

— Почему? Что вы такое говорите? — закричал Васька.

— Появились новые ревнители чистоты патриотизма. Их дело живёт и побеждает, — терпеливо разъяснила я.

— Неправда, не может быть... ведь она... — поперхнулся он. — Нет!

— Ошибаешься, малыш. Я уже говорила тебе: любой анонимщик пишет от лица эпохи, масс и толщ, и гущ. Народные массы — это серьёзно, ребёнок. Толща. Гуща. И она не кофейная.

— Давайте встретимся! Сегодня же!

— А что, — говорю, — давай. Хуже не будет.

Я не люблю весну и не выношу лето. Мне нужен холод, ноябрьский дождь, можно метель и мороз, только не солнышко, дарующее тепло и свет. Солнышко раздаёт людям энергию, а мне и свою девать некуда.

Васька хотел в *наше кафе*, но поддался на уговоры, и мы двинули на ВДНХ. Наше кафе находится в непосредственной близости от редакции радио, а мне сейчас ни к чему. Больно. Васька понял и предложил аллеи, прохладу, фонтаны. Умница.

— Представляешь, с тех пор, как ты достаёшь меня Дарвином, я зову тебя по имени, а мудрёную кличку почти забыла, — неуклюже поощрила его я.

— Да? Я тоже, — обрадовался он. — А почему, интересно? Такоё клёвое погоняло было...

— Можешь вернуться в лоно московской литературной нормы, я не обижусь.

Мы стремительно шли по центральной дорожке выставочного комплекса, спеша укрыться в лесистой части, где мне всегда хорошо, где прогулочная тень и культурно-дегустационный дух, застывший, словно заспиртованный, в подлинных колбах ещё советских павильонов.

— А я сам не знаю, почему оно вдруг улетело. Так, время. Я стал Магиандром, когда увлекался всякой кручёной стилистикой, мозаикой, хмелел от этимологии, даже народной. Всё в отца: люблю слова и буквы. Так и накрутил: жила-была магия, вышла замуж за андроида, получились дети.

— А почему магия у тебя... жила-была? Ты же православный. Тебе нельзя даже думать об этом, — подколола я.

— Магия слов и магия действий — разные вещи.

— Одинаковые, поверь мне. Не знаю, что хуже. Ну а андроид — что за птица? Откуда слетела на тебя?

— Со страниц учебника. Багратиды — потомки Багратиона. Андроиды — потомки андра, человека, что-то мужественное, Андрей отсюда. Мой отец — Андрей, кстати. Магия — *она*. Я приделал ей мужа, получился образ деятельного человека, могучего и прекрасного. В могучих туманах детского воображения мне постоянно не хватало какой-то личной силы, я сам не понимал какой. Распылялся, разливался, пил бесформенность, как мёд, увлёкся и задохнулся. А переименование меняет жизнь.

— Чем тебя не устраивал *царственный* Василий? Базилика, базилик, васильки, басилевс, — у тебя множество сил и возможностей, прекрасное имя. Оно у меня любимое.

— Кот наплакал. В прямом смысле слова. Был котёнок, вырос гранд-кот Василий, однажды пропал, мы искали, нашли, он похудел, был подран соперниками, поскольку по кошкам шлялся. Пока отлёживался, шкурку чинил, тошненько так мяукал, будто плакал, а когда шкурка срослась, взял и помер. Я так рыдал — отец водой меня поливал! Пятилетнему ребёнку нельзя хоронить домашних питомцев, тем более тёзок. Я лет на

десять застыл, вообще на имя не отзывался, мама и так меня, и сяк называла, даже отец примирился. Каждый выдумал мне домашнюю кличку, и на этом сошлись. А потом я сказался Магиандром. Теперь отмёрзло. И мамы нет...

— А папа не проявлялся? Впрочем, что это я?.. Ясно же...

— Вот именно. Моё сердце говорит: папу надолго затянуло... Я работать пойду. Справлюсь, не бойтесь, я универ не брошу.

— Кем работать?

— Не знаю. Рассылаю резюме куда попало, смотрю, что вернётся.

— Одно резюме? — догадалась я.

— Конечно, пять. Скоро шестое сочиню. Ну как вы могли подумать!..

— Так ведь потом, если сработает, придётся играть чужую роль, это неудобно и вредно, что будешь делать?

— Я, сударыня, жутко артистичен! — И он поклонился мне, помахав огромной шляпой с перьями. — Так, что сыплется золото с кружев...

— Ну да это твоё дело. Моё дело предупредить.

— А кто вас предупредил, что письма пошли по новой?

— Земля слухом полнится. Но всё точно. Гнилой у меня патриотизьмушко, пишут , не туда я народ увлекаю, неконкретна моя идейная позиция, гости какие-то подозрительные, особенно вон тот, и пошло-поехало. Есть и клакеры: звонят в прямой эфир с призывами начальству — отказать мне от места. Угрожают, хамят, ругаются...

— Вам показывали эти письма?

— А как же! Земля полнится слухом, а почтовый ящик — бумагой, а есть ещё сайты, форумы, электропочта — миллион способов создать видимость массовости! И угрозы; при непринятии мер обеспокоенные авторы посланий будут писать всё выше, выше и выше, а этого, собственно, всегда боялись начальники.

— А вы можете найти хвостик, самое начало, когда всё началось вообще? С письмами про вас? Раз вы говорите, что мама — от имени эпохи, то, значит, вы и раньше сталкивались с эпохой в этом смысле, да?

— Да, конечно. Только вряд ли мой рассказ добавит тебе любви к людям. Даже Дарвин тебя не спасёт.

— Но есть Бог... — серьёзно посмотрел на меня мальчик. — Он же попускает это. Может, надо понять, что это знак, это событие! Испытание! Надо понять! Я всегда пытаюсь понять: что это значит?

— Ага. Что значит побег твоего отца? Что значит смерть мамы? Ты уже всё понял ? Видишь ли, если разбираться с анонимщиками с твоей, знакоцентричной, точки зрения,

можно допрыгаться до такой непостижимой мелочности архангелов, что никаких людей уже не надо. А там и фатализм рядом, и уныние, и скорбь не по Богу вместо смирения.

— Откуда вы знаете, что такое смирение?

— Откуда... И знаю ли? Ну, слушай. Мне бы тоже выговориться. На радио поговорить невозможно.

Глава 33

Не вашей бы чести слушать наши речи. От учтивых слов язык не отсохнет. Скоморохова жена всегда весела

Кутузов пережил праздничные дни, томясь ожиданием, но вежливо. Тоскуя, он ни разу не взгрустнул, не заскулил, не пожаловался, говорил мелодично. Беспросветно сыпал цитатами, по любому поводу ссылался на авторитеты, да так изобильно, что Аня, уж на что девица книжная, переполненная, и та раз не выдержала: ну что ты всё на людей сваливаешь? Не человек, а гиперссылка!

— А всё уже придумано, — объяснил он. — Зачем же я буду искажать? Тем более что я всё помню наизусть, абсолютно. Я и лекции читаю с пустыми руками. Действует!

— Уверена.

И только на третий день, ближе к ночи, профессор ошеломил хозяйку нетривиальной просьбой:

— У тебя в доме есть глянцевые журналы, с девками?

— Ну наконец, и ты чего-то не знаешь в этом мире!

— Мне надо. Для работы, — серьёзно сообщил профессор.

— Главное — не перетрудиться.

Но — слово гостя закон, и Аня пошла на конюшню попросить у обслуги свежую глянцевую прессу.

Утром они сели в машину и поехали в Москву. Аня рулила молча, профессор насвистывал «Марсельезу», историческая сума многозначительно покачивалась на коленях.

Расстались у «Кропоткинской», договорились на вечер, и Аня, душа мудрая, даже не попросила Кутузова держаться трезвости. Он ласково подмигнул на прощание, девушка кивнула, всё мило, по-товарищески.

Пора сообщить, что Андрей Евгеньевич Кутузов от природы картинно красив. Высокий в меру — сто восемьдесят, серо-голубые глаза, высоколоб, тонкий нос, нежная кожа, кудри пушистые волнистые золотистые. В золоте — легкая проталинка на темени,

малозаметно. Стройные ноги скакуна, длинные руки-обнимуки, королевская осанка, богатый панбархатный баритон, очаровательная улыбка со смыслами, подтекстами, переливчатая, — всё было прекрасно и скреплено системно и логично, будто рота дизайнеров-аналитиков посидела-поколдовала, не упустить бы чего-то важного. Однако владелец изумительных редкостей никогда не обращал на них своего внимания и не пользовался ими для прельщения современниц. Когда женился, тогда и успокоился: есть и есть. Надо — возляжем. Если ей надо, мы готовы — что нам, жалко? Кафедральные дамы нет-нет да и стреляли глазками, но всегда промахивались. Кутузова угощали на все праздники домашними соленьями, пирогами, наливками, а он чинно пробовал и хвалил, не зарываясь.

Его жена вседневно была уверена, что муж никуда не денется. Во-первых, ему главное — читать и размышлять. Во-вторых, всё *это* есть на дому. В-третьих, ему будет лень раздеваться, даже если его уломают. То бишь три веские причины открылись его жене, чтоб оставаться природной: тощенькой дурнушкой с малюсенькими бесцветными глазками, хилой гримаской вместо улыбки, каменно-фанерной спиной, короткими белесыми ногтями, напряженно-горделивой походкой.

В начальной молодости она ещё не боялась улыбаться, хотя зрелище открывалось редкое: по мясистым краям дёсенных валиков слабо виднелись короткие пеньки серых зубиков, не получивших должного развития, поскольку в челюсти не осталось места: всё заняли дёсны. Стоматологическая композиция предъявлялась при любом движении худых губ, но только ближе к сорока женщина заметила картинку в зеркале. И перестала: отменила мимику. Вообще примолкла, хотя в отношении мужа к ней годами ничего абсолютно не менялось. Надо — пожалуйста. Не надо — я книжку почитаю. Дивный был межвидовой симбиоз.

Майским утром на лавке Гоголевского бульвара сидит красивый пятидесятилетний мужчина, картинка. Описание см. выше — но прибавьте хорошую одежду известных марок, откуда-то вынутую вчера юной волшебницей. Он и не заметил, как Аня вызвала бутиковых торговцев и они, поглядев издали на гуляющего в полях мужчину, в минуту свезли на дачу всё подобающее.

Единственное — сумка. Но если взять шире — вещица стара, поношенна. Сходит за стильную, это хорошо: деталь, разумная небрежность. У сатирика Жванецкого есть концертный портфель такого же вида. Аня утвердила сумку даже под новый костюм.

Но вот чего не знала и даже подумать не могла волшебница: полночи профессор вёл активную исследовательскую работу. Его исключительной мощи память переработала весь массив новой информации, вследствие чего проснулся он глубоко, с

пониманием деталей просвещённым: где и как теперь живут богатые, успешные люди столицы.

Навык оперирования неполными данными, текстология, филология, семиотика, психология творчества и прочие геодезические навыки — всё было применено наконец для диагностики жизненного контента, который, оказывается, окружал его много лет, но латентно. Паутинка в чащобе, куда ходят толстолапые. В дверь-то никто не ломился, а что там плывёт по экрану ящика — это пусть сами все и разбираются.

Латентный контент московского бытия ожил сегодня ночью, овеществился, персонализировался, заговорил и многое, ох многое порассказал. Эх, не знают они, чукчи гламурные, с кем связались.

Задачи профессора облегчались двумя обстоятельствами: во-первых, тематический репертуар глянцевой прессы был устойчиво мал и строго детерминирован. Во-вторых, персонажи скользили с великолепной презентации на потрясающую презентацию, не меняя выражения лица: картины, кольца и колье, концепт-кары, косметика, музыка, бельё или гольф-поля, — они всё встречали с одинаковой благосклонностью, после чего поворачивались к фотографам и демонстрировали себя.

Кутузов за пару минут расшифровал, кто, с кем, зачем и куда ходит этой весной, а через полчаса он уже знал, кто, куда и с кем пойдёт следующей весной. За это последнее знание любой персонаж парада, очевидно, душу бы продал, но это было эксклюзивное, эзотерическое в основном значении слова открытие профессора Кутузова, обретённое в спальном мешке, у подножия возлюбленной пирамиды, в нереальных апартаментах, куда изобретательная судьба забросила его на неопределённый срок.

Кутузов поупражнялся: закрыл глаза, открыл. Ещё разок. Замечательная память его уверенно выщёлкивала светские фамилии, адреса и стати. И линия! Главное — линия ! «Героиня сексуальна, своенравна и really cool. Как и её друг. Он — свободный художник, молодой и успешный. Искать встречи с ним стоит на модных вернисажах, где его костюм — яркие ткани, идеальный крой, тонкая кожа — может поспорить с лучшими образцами contemporary art». Сначала Кутузов не понял, зачем искать встречи с молодым художником, раз он уже является другом сексуальной героини. Но потом усёк, что *реально крутая* — его единомысленница, единомюслинница, единогламурка. Друг и френд — не синонимы! С последним осуществляют особое взаимодействие, а не дружбу в антикварном понимании.

А теперь, профессор, посмотрите слайд-шоу с участием этой героини, чёсом по всему глянцу. Вот она в японском саду выбирает жемчуг, — не закрывать глаза! — вот на фотовыставке, о!.. вот ипподром и шляпка для скачек; вот её пёсик, очень крупно, ибо

мала животинка в сапфировом ошейнике, в микроскоп еле видно; вот интервью, для которого ей слов не хватает; минеральная вода для умывания и клистир для стройности; а вот и бойфренд, о котором поговаривают, что... о!

Провертев кино с открытыми глазами, Кутузов понял, что и этого он уже никогда не забудет. «В новой коллекции много принтов...»

Так же он проверял себя, когда учил Библию: и во тьме и на свету. Он и поболее умел: проколет иголкой десяток рисовых страниц, и — проверяйте меня, пожалуйста, через какие стихи прошла иголка. И цитировал наизусть, доводя студентов до ужаса: профессор насквозь видит Библию.

Сегодня мощь интеллекта и памяти выходит на бой со своеумными привидениями , глянцево скачущими по Москве. Теперь он знает всё. Не отвертятся. «Нажуравим колодец-то, нажуравим!..» — и руки потёр.

Глава 34

Вольно тому шалить, кто смолоду не бит. Не учи плясать, я и сам скоморох. Мало штыка, так дадим приклада

— Только ты, Вась, не удивляйся, не перебивай, не спорь, а то кураж рассеется, ладно?

Он пообещал, но ведь он не знал, *что* пообещал. Да и я, начиная речь, ещё не ведала, откуда удастся поднять, ведь это хранится там, куда не заглядываешь веками, бурлит в печи, которая в подвале замка, но прогретые струи всегда текут вверх по равнодушным трубам.

— Много лет назад я попала в журналистику — как пальцем в небо. Но приросла и уже не уйду, хотя у меня есть ещё две-три профессии. Про эту я знаю всё. Сейчас будем исключительно о журнализме, ведь ты только так воспринимаешь меня, и отец твой, и...

— Не бойтесь...

— Словом, первопричина всех наших разногласий та, что есть видимый мир и есть невидимый. А в видимом мире есть внешние события и есть пружины. Невидимому миру мы видны; мы — видимый мир и для себя, и для невидимого. Но — не наоборот. Мы только верим в существование невидимого, а многие ухитряются об этой вере ещё и спорить, воевать, совершать революции, записывать свидетельства и регистрировать чудеса, в которые всё равно не верят те, для кого существует только видимый мир. Пока понятно?

— Разумеется. Это кругом, повсеместно. Дальше!

— В видимой части спектра есть и те, кто нажимает пружины; они понимают и события, их связь и возможные следствия. Не всё понимают, не сразу, но многое. Для кого-то землетрясение в Спитаке — ужас, а для кого-то — закономерный результат направленного подземного взрыва. Слышал про геофизическое оружие? Нет? Ну да не важно. Есть оно, есть. Можно не только разгонять облака, можно океаны местами поменять, не дожидаясь перехода полюсов. Конечно, снесёт полчеловечества, а у многих родственники всякие там, знакомые, перемещается народ, не уследишь, посему океаны пока на месте. Но это уже почти чудо.

— Океаны? — не поверил Васька.

— Но я тебе не про экологию, я про журналистику. Пункт второй. Однажды я читала прелюбопытную диссертацию по психологии. Автор исследовала десятки профессий и профессионалов с целью выяснить мотивацию к труду, точнее, к обретению той или иной профессии. В одной маленькой группе возобладала мотивация «власть». Эта группа по своей кратофильской направленности непреодолимо оторвалась от всех прочих профессий. Внутри самой группы стремление к власти было выражено примерно одинаково сильно у представителей всех четырёх. Догадайся, представители каких четырёх профессий оказались в этой властолюбивой группе? Подчёркиваю, речь шла о начальных, стартовых импульсах. Понятно, что потом, когда человек входит в дело с головой, у него прорезываются и другие крылья, и другие зубы, но вот вначале...

— Догадываюсь: лидируют в группе кратофилов журналисты.

— Лежало на поверхности. А остальные? Ещё три. Давай!

Васька честно задумался. Двадцатилетний опыт жизни шевельнулся, колыхнулся и выбросил:

— Артисты? Шоу?

— Нет. Даже близко нет. Они сами как дети.

— Ну не пожарные, конечно, не сантехники, хотя у последних сейчас необъятная власть. Как это говорится, *техник сан*. Опера «Башляй».

— Ещё помучаешься?

— Профессоры! — вспомнил Васька. — Деканы!

— Теплее, но мимо.

— Я не сдаюсь, но хочу скорей услышать продолжение.

— Прошу. Журналисты. Священники. Учителя. Психологи. Вопросы?

Васька, повеселевший на *журналистах*, сразу затих и насупился на *священниках*, воспрянул на *учителях* и озадачился на *психологах*. Потом что-то перекалькулировал и спросил с надеждой:

— Точно? Без ошибки?

— Точно. Диссертация была защищена и почти засекречена, тем быстрее потому, что соискатель шёл к степени доктора как раз психологических наук. Лёгкая доза критического в отношении к себе и коллегам была простительна. Всем остальным решили не показывать и не рекламировать.

— Из-за священников? — с пониманием спросил Васька.

— Ну что ты! Священники тут по определению: им с человечьими душами работать приходится с высоты непререкаемости. Они обязаны уметь управлять и, конечно, искренне желать этого. Нет: из-за учителей средней школы! При тестировании там обнаружились интересные результаты, которые даже самым тщеславным журналюгам не снились.

— Но ведь учитель — это святое. Даже политики, баллотируясь, всегда говорят о зарплате врачам и учителям — в первую очередь! Образ учителя, как образ матери, Родины, чести, достоинства, — нет, это невозможно! Святые люди!

— Вот видишь, Васёк, ты сам прошёл путь, которым проходит каждый, кому пытаются сказать правду. Достаточно тронуть стереотип, и всё. И правда уже никому не нужна, потому что её некуда положить. Вернёмся к началу: видимое и невидимое. События — и пружины. Если обнародовать исследование про учителей, у многих заболит, как зуб, стереотип. И что тогда: не бороться за зарплату врачам и учителям? Да любой политик, забывший хоть один пункт из джентльменского набора, — всё, считай, труп. В наборе-то немного, но жёстко: безопасность, борьба с пороками, рабочие места, уверенность в завтрашнем дне и прочая. И конечно, врачи-учителя, поскольку священная корова. О врачах, кстати, в той диссертации ни слова. Они просто лечат. А учитель средней школы даже за пять копеек, даже срывая горло, но на работу выйдет и уроки проведёт. Поскольку власть над маленькими, мягкими, неразумными, подчинёнными, нежными существами необъятна и нигде более в таком же объёме не воспроизводима. А от этого вида энергообмена никто не в силах отказаться.

Васька загрустил и померк. Я поняла, что моя провокационная лекция совершает некую чудовищную работу, возможно, чёрную. И мальчику больно.

— Давайте дальше, — тихо попросил он, видимо, из любопытства. — У меня была хорошая первая учительница. Говорила, старших слушаться надо.

— Ну и давай слушайся. Только если опять заболит — скажи, отдохнём. Итак, журналисты идут в профессию за властью. Это высшее наслаждение, поэтому профессия — самая популярная и массовая. Все остальные по сравнению с этим жалкий паллиатив. Наслаждения телесные, кулинарные, спортивные, — всё мимоходом прихватывает

глоток власти над другим человеком! И нет большей сладости живым, чем заставить другого выслушать тебя, принять твою точку зрения, а если не принял — опять заставить . Люди умирают в битве за мнение. Сверху присыпано пудрой и полито глазурью: убеждения, принципы, идеи, воззрения и прочее, прочее. В переводе на понятный язык: делай, как я, думай, как я, молись, как я, но не подходи близко. Не сливайся со мной. Я выше, я отдельно. А ты делай! И не перепутайте меня с кем-нибудь другим! Схема любой журналистики.

— Вы говорите мне жестокие вещи, чтобы я понял, какое вы чудовище? Или зачем? Как я должен всё это понимать?

— Вась-Вась, а ведь мы договорились: тебе нужна правда, и ты готов потерпеть и не перебивать. Договаривались? Терпи. Кстати, не только в журналистику, а в любое искусство люди бегут за наслаждением. Слово, малыш, однокоренное *сладости*. Пощупай, пожуй, потерпи.

Бедный малыш. Он сделал шажок в сторону и шёл теперь как-то официально, будто чужой. Я ждала, пока гарпун обрастёт мозолями.

— Продолжайте, — сказал он минут через десять, когда мы дошли до павильона « Культура».

— Продолжаю. Итак, ты понял, что журналюги суть кратофилы. Даже если не отдают себе в этом отчёт. Но спрятать себя в тексте ещё никому не удавалось. Ни в печатном, ни в аудиовизуальном. Текст — самый жёсткий рентген. Видно всё. А что не видно — то чувствуется. Главное, пойми: выходя на люди, журналист всё своё транслирует полностью, как бы ни был он мастеровит по части сокрытия своих мыслей. У радио есть так называемый совокупный слушатель, великое ухо которого в нашем случае раскинулось от Калининграда до Владивостока. Это ухо всё слышит, на всё реагирует, причём адекватно. И если журналист начинает хоть чуточку давить, не важно чем, ухо высылает ему молнию: не дави, само всё понимаю. Это не связано с так называемой правдой. Это только эмоции. Но именно они решают всё. На ухо давить нельзя даже с самой великой правдой. Например, нельзя кричать в ухо: «Эй, ты пришито к дурьей башке, у которой внутри солома! Труха! Рабская психология! Отсутствие вкуса к подлинным демократическим ценностям!» И тому подобное нельзя кричать в совокупное ухо.

— Ухо сворачивается в трубочку? — ожил Васька.

— Нет, не сворачивается. Ухо шлёт ещё одну молнию: иди-ка ты со своим криком куда подальше. Но журналюга не понимает и опять кричит: «Эй, ухо, а ты ещё и непатриотичное какое-то! Давай-ка я научу тебя родину любить!!!»

— Это, насколько я понимаю, вы... прыжком по истории?

— Конечно. Разные этапы, разные крики. Так вот теперь мы подходим к сути моей проблемы.

— Неужели?.. — хмыкнул он.

— А суть её в том, что я в ухо не кричу. Я ему то шепчу, то воркую, но никогда не командую ни «левой, левой», ни «правой, правой». Я хорошо отношусь к людям. Жаль их, удавленных информацией, поэтому я стараюсь быть нежной. Передачи-портреты, культура там всякая...

— Это я слышал. Мелодия! Что ни скажете, музыка. Мы вас всей семьёй долго слушали, а потом я написал, потому что рука вроде сама вывела ваше имя...

— Понимаю. Так часто бывает. Это тоже вид власти: музыка голоса, спокойный тон, уверенное знание правил и ударений. Особое очарование. Но за всем этим я прячу нежелание кричать в ухо, потому что мне жаль людей, и других мотивов тебе приводить не буду. И вот на этом-то я и погорела. Ухо, не чувствительное к мелодичной тишине, однажды начинает требовать, чтобы его, так сказать, почесали. Дунули. «Дайте мне в ухо ! — кричит само ухо. — Сильнее! Да вот же как надо! Я сейчас покажу, как надо мне дать в ухо». Не получив, оно берёт бумагу и пишет в дорогую редакцию. Вот вкратце схема. Ничего нового, но тебе почему-то неприятно, а почему?

— А как вы думаете? На кухне задохнулась моя мать, и весь этот несчастный случай, если верить вашей интерпретации, закономерен. Никаких случайностей. Она была обречена, так?

— Это если *верить* моей интерпретации. А ты можешь и не верить.

— Почему вы так беспощадно откровенны? — В голове у мальчика всё перекосилось, и даже слышно было, как поскрипывает.

— Ты же хотел правды...

— А вдруг это лишь *ваша* правда? Вдруг у других она другая?

— Умница. Так и есть. Народное речение: у каждого своя правда. Оттого и войны . Всё понятно?

— Но ведь журналист обязан искать и передавать настоящую правду!

— Ценная мысль! Должен. Ищу. Всю жизнь ищу, передаю, самую настоящую. Только теперь вспомни самое начало нашей беседы, ну, про диссертацию, про учителей, власть, пружины и скажи: как мне доставить тебе эту правду и, главное, что ты с ней будешь делать, если мне вдруг удастся договорить эту самую правду?

— Ученик первого класса не должен знать, что его любимый учитель втайне мотивирован к труду кратофилией. Родители ученика тем более... — принялся

рассуждать Васька.

— Про бабушку с дедушкой я вообще молчу: за берданку возьмутся.

— Правительство тоже не должно знать, потому что им всё равно, под каким предлогом не платить народу деньги, так? А тут само плывёт в руки, да ещё на научной основе. Психология! — раскалялся Васька.

— Точно, дорогой. И уж совсем не стоит поверять сию тайну самим учителям, поскольку они её, во-первых, и так смутно чуют, а во-вторых, ни при каких условиях не готовы поверить в эту смутно ощущаемую правду сознательно, головой, потому что выйти потом к осведомлённому ученику, а также вещать на родительском собрании — ух, лучше сразу к бабушке с берданкой. Знаешь, почему за психотерапию, а особенно за психоанализ обязательно платят? Личными, кровными. Деньгами! Знание базовых истин о себе любимом, получаемое от доктора, то бишь несомненная научная правда, даёт крайне болезненные ощущения. И клиент, желавший всего-навсего улучшить свою личную жизнь, получает полный список причин её плохости, а с этим жить больно и трудно, а до выздоровления ещё много раз придётся выслушать о себе кое-что. Выясняется, что не девушка дура, которая тебя покинула, а ты сам урод и тебе действительно лечиться надо. И платить за полное знание диагноза. Вот, Васенька, основная проблема журналистики: никто не хочет платить врачу, объясняющему тебе *причины* твоего уродства.

— Кажется, я сейчас заплачу. Мне никогда так тошно не было, даже на поминках !.. Но ведь есть исключения! Должны быть! И среди учителей, и тем более — священников!!!

— Конечно. Полным-полно!.. Сплошные исключения. Люди вообще чудо как хороши, я их всех очень люблю. Я же не заставляю тебя верить в то, что я рассказала, так , на слово. И диссертации этой поганой у меня с собой нет. Дело, Вась, только в том, что она есть на самом деле, где-то там, в архиве учёного института, и при небольшом желании её можно взять и прочитать. Как и прорву другого материала, живописующего человека во всём его развороте. И теперь только на самую малую секундочку представь себе, что чувствовал Иисус, когда призывал возлюбить ближнего... Представил?

— Господи... да ведь это значит — возлюбить его такого, каков он есть. Не переделывая... да и невозможно...

— Вот именно. Пусть бросит в неё камень, кто сам без греха. Всё было сказано — две тысячи лет назад!.. И до сих пор не услышано, Василий, голубчик ты мой. Не плачь, милый, я тебе сейчас другую сказку расскажу, не плачь, маленький, сиротинушка...

Я усадила дрожащего ребёнка на лавку, принесла мороженого.

— Мороженое у нас уже традиция. Добрая и холодная... Спасибо, — всхлипнул он и стал есть. — А как вы с этим живёте? С журнализмом проклятущим...

— Трудновато бывает, но так почти у всех, кто пытается выдрать из кучи хлама хоть какую-нибудь правду, в которую и сам поверит, и другим расскажет уверенным голосом. Вроде под куполом на трапеции, без страховки, акробатический этюд. Привыкаешь. Я когда поняла, что люди разные и никто не хочет никакой правды, отличающейся от его собственной, ужасно страдала, статьи писала в газетах, разве что головой об стену не колотилась, а потом успокоилась и поняла, что действительно есть некий общий договор: отсель и досюда мы тебе верим, пой! А вот здесь ты нас уже не трогай. Может, и послушаем, и поверим, но правды твоей — не надо. Главное, чувствовать границу, на которой тебя остановят и скажут... вот это самое. Можно пойти вперёд, переступить границу, но это уже твой выбор, как ты хочешь жить дальше.

Васька доел и мечтательно посмотрел вдаль, так далеко, куда в городских условиях взглянуть невозможно. Помолчал и решил:

— Никогда не буду журналистом.

— Молодец. Но ты вроде бы и не собирался. Ты же по отцовым следам, филология, буквы, памятники словесности, твоя клиентура почти вся на том свете, а живые пешком постоят, да, солнышко?

— Филология — это вход в культуру через памятники словесности, дорогая Елена , а в составе культуры находится всё, что делает человек и чего не делают обезьяны. Зверюшки могут и пить, и курить, но они не выпускают ни газет, ни телепередач, а информацию распространяют исключительно качественную: где сидит охотник и куда полетим осенью... Я ещё лучше понял Дарвина, с его упоённостью всякими хвостиками, лапками, пёрышками. Он хотел сам, без Бога, простить человеку всё, что знал о людях.

— Как ты думаешь, простил?

— Не знаю. А давайте всё-таки сделаем передачу! — Он серьёзно посмотрел мне в глаза, и я увидела взрослого.

— И спросим у слушателей? Простил их Дарвин или не простил? Пусть подумают и ответят? — Я тоже смотрела ему в глаза.

— А что? Я бы сам послушал такую передачу. И мой отец. И даже мама, царство ей небесное.

— Отец вообще часто слушает радио?

— Раньше он был какой-то радиоман. — Озадаченный Васька, видимо, как-то по-новому взглянул на семейную коллизию. — У него везде по квартире рассованы настроенные приёмнички. На каждую станцию свой аппаратик, чтобы не крутить. Зайдёт

в ванную — музыку включает, на кухню — вашу, «Патриот», а в коридоре...

— Понятно. А телевизор ни-ни? Обычно телезрители не очень-то слушают радио, и наоборот. Не конкурируют эти ниши, как ни парадоксально.

— Точно, — согласился Васька, — телевизор он смотрит в исключительных случаях. Иногда чтобы над мамой подшутить, она люб...ила некоторые сериалы, но так, без фанатизма, чуточку, чтоб иметь мнение!.. — Васька опять задрожал, и я погладила его по плечу.

— Тебе холодно. Мороженое попалось холодное. Пойдём ещё походим, тут фестиваль цветников, красиво! — Не дожидаясь его *мнений*, я потащила его в сторону выхода, близ которого действительно цвела фантазия флористов и причудливые клумбы с искусственными ручейками благоухали свежестью и радовали взор.

Васька, непосредственный, открытый человечек, старательно нюхал цветы, внимательно читал надписи — кто сотворил клумбу, и даже успел сделать научное наблюдение: фирмы, называющие себя понятными именами, создают более приятные композиции. А назовутся не по-людски, неудобочитаемой аббревиатурой, — так смотреть неприлично. Я опровергла научный вывод, показав ему на пасторальную композицию с портативными берёзками, листочки на которых трепетали светлыми копеечками, с цветочной тележкой, милейшим осликом из коры, мха и соломы, ромашковыми грибами, расставленными по стриженой лужайке высшего качества. Фирма-изготовитель называлась «ДомБЮуРсК».

— Да-а-а... — покачал головой Васька. — Исключения действительно бывают. Ну , тогда и жить можно, правда?

— Правда.

Глава 35

Спроста сказано, да не спроста слушано. Не всё мели, что помнишь. Через край нальёшь, через край и пойдёт. Первая пороша — не санный путь. Бешеному дитяти ножа не давати

В префектуру вошёл импозантный господин с понимающим лицом. Были в господине надмирность и свежесть. Через пять минут он был представлен главе местного кабельного телевидения. Ещё через двадцать господин получил контракт на серию часовых программ формата «формула успеха» — ток-шоу, днём, по будням, — вкупе со вполне разумным авансом. Называлось «Шоу толка».

Редактор, пряча в усы внезапное счастье, предложил отметить. Господин

уклонился, обронив, что тема воздержания от пития будет новаторски раскрыта, возможно, в одной из передач. Редактор с удовольствием согласился на новаторство.

Пригласили девушку — администратора по гостям, и новорождённый ведущий протянул ей список фамилий. Девушка взяла бумагу, равнодушно посмотрела. Не поверив, она пробежалась по именам ещё раз и, обескураженная, подняла квадратные глаза на главного редактора, не в силах вымолвить ни слова.

Расценив её молчание как знак восторга и, разумеется, готовности к выполнению поставленной задачи, главный редактор вышел. Девушка перевела взор на ведущего, беспечно изучавшего графики, приказы и фотографии на стенах.

— Простите, но у нас кабельное, муниципальное телевидение, — пролепетала девушка. — Сюда не ходят VIP-персоны такого уровня. Этого никогда не было!..

— То, чего не было никогда, вот-вот произойдёт. Закон жизни. Вы замужем?

— Нет.

— Были?

— Никогда.

— Хотите?

— Да... но...

— Когда? Как ваше имя?

— Как получится, — шепотом ответила девушка, желая провалиться. — Анжелика.

— Вот с вас и начнём, голубушка. Первое задание вам как администратору... нет, давайте назовём по-другому. Вы — продюсер по гостям прямого эфира! Договорились? Договорились. Первое задание вам, Анжелика, лично: найти мужа к финалу нашего сериала, то есть... так-так... Словом, быстро. И не позже чем через два месяца венчаться. В крайнем случае просто расписаться в загсе. Вытерпите? Думаю, да.

— За кого? — окоченела от ужаса девушка. — У меня и нет никого. Да и вообще они все сейчас такие...

— Они прекрасны. Их много. Как минимум десять. И каждый мечтает встретить вас и жениться. Я знаю.

Ведущий говорил столь уверенно, что девушка густо покраснела. Она увидела себя в лимузине, в белом платье и с десятью женихами. Каждый держал в руках бархатную коробочку: у любой здоровой девушки как раз десять пальцев.

Анжелика пошевелила холодными пальцами.

— О, вы уже начинаете шевелиться! — восхищённо подметил ведущий. — Вы очень талантливы. Я уверен: задача будет решена. А сейчас пойдём готовиться к первому

эфиру. Где у вас грим-уборная и телефон?

— Телефон?.. Может быть, факс? И найти виповых пресс-секретарей?

— Телефон. А что вас удивляет? Мы будем разговаривать с вице-президентом банка «Ё» по простому городскому телефону. И с его женой, шляпницей, тоже. Скоро бега, дама вся в хлопотах, клиентов уйма, — дело в шляпе.

— Но я... мы никогда... Ах да, вы же... но как?

— Это и есть самый главный вопрос. И вот второе задание для вас. Кстати, вы помните первое? Посмотрите на четвёртую фамилию: он холост.

Девушка посмотрела. Холост? Пальцы потеплели. Неужели холост!

— Так вот, второе задание. Вы слушаете, что я буду говорить по телефону, запоминаете. Лучше запишите на диктофон. Освойте мою стилистику телефонной беседы, и через неделю у нас тут будет стоять очередь из випов, рвущихся в прямой эфир — кабельный и муниципальный, да, да, я помню, но я неспроста пришёл именно сюда. Я знал, что вы хотите замуж. Обратили внимание на номер четыре? — Ведущий молол и молол, а девушка чуяла перемены, робела и млела.

С каждым его пассажем обновлялись её эритроциты. И кожа словно менялась: желтоватая и шершавая слезла, бронзоватая и шелковатая вылезла.

— Бронза и шёлк! — воскликнул ведущий. — Символ дебютного эфира! У вас есть словари ударений, толковые, арго, справочник улиц и переулков, гид по бизнесу?

— Есть... — вернулась в себя девушка. — У главного в кабинете.

— Они должны быть здесь, голубушка, под рукой и, так сказать, под языком! Вы понимаете, как сейчас трудно завоевать престиж? Раньше было проще. А теперь надо знать русский язык и традиции. Это становится модно. Вот и вторая тема. Записали?

— Да. Принести сейчас? У меня и дома кое-какие валяются. «Демографический энциклопедический словарь», хотите?

— Как он попал к вам в дом? — заинтересовался ведущий. — Отлично! Да! Хочу демсловарь. Конечно. И как попал?

— Не знаю, он 1985 года...

— А вас когда родили? Подождите, сейчас догадаюсь. В 1987-м? И всё ещё не замужем? Да меня вам Бог послал. В пророческом смысле. А теперь позвоним в банк. Справочник?

Разложив пособия, ведущий полистал, помыслил и снял трубку. Анжелика перестала дышать. Десятки раз она слышала, как далеко посылают абонентов, обращающихся в *те* сферы от имени *этого* кабельного телевидения.

Погоня за звёздными гостями стала ежедневным спортом практически всех

изданий, как бумажных, так и аудиовизуальных. Звёздные персоны знали это и проявляли недюжинную разборчивость, поскольку их воспитывали специально обученные люди: стилисты, а многих — даже имиджмейкеры.

Страх обуял Анжелику, вообразившую себе неминуемый позор телекомпании, а в личном плане — провал её встречи с номером четвёртым. Девушка зажмурилась, даже уши ладошками прикрыла, и для спокойствия начала считать барашков: один барашек, два, три... На четвёртом что-то застопорилось, она приоткрыла одно ухо и с непередаваемым чувством услышала...

— Да-да, Саша, вы правы! — вежливо улыбался ведущий, непринуждённо болтая с насельником невидимого мира. — Поклонники Качалова так любили его послушать, что у прислуги артиста по бешеным ценам раскупали его окурки! Не торгуясь! Прислуга наживалась, поскольку великий голос продымливался каждодневно. Об этом мы тоже поговорим!

Анжелика знала, куда звонил ведущий. Поэтому сам факт разговора, весело журчащего уже не меньше десяти минут, был *факт* — и немыслимый. Но весомый, как чемодан с валютой.

Ведущий ласково простился с господином Нифаговым до понедельника. Стартуем в три часа, встреча в полтретьего.

— П-п-ридёт? — прошептала девушка.

— Да. С супругой. Она принесёт свежие шляпы. Он курит сигары. Банкир, а член Союза драматургов! Молодец парень.

— Откуда вы это узнали? А сигары он будет в кадре курить? У нас нельзя... — вспомнила девушка. — Боремся.

— С чем боретесь? С деньгами? Со своими собственными доходами? Успокойтесь . Он не будет курить в кадре. Но чтобы больше я никогда на этом проекте не слышал слова «нельзя», договорились?

— Договорились, — прошелестела девушка, не веря ушам.

Ведущий набрал следующий номер, и через две минуты Анжелика узнала, что:

— ...теперь, если надо высказаться, уже не надо корчиться от важности. Пристраиваться к аудитории тоже не стоит: представьте, что ни рабочих, ни крестьян не осталось. Ни грешных, ни праведных... Вашего уровня...

«Ой! — неслышно пискнула продюсер по гостям. — Он же велел записывать и запоминать. А как я это запомню?..»

Пока ведущий тонко перешучивался с третьим визитёром, она настроила запись по телефону, чтоб не пищало, и замерла в ожидании беседы с четвёртым, сами

понимаете.

Ведущий набрал номер четвёртого. Анжелика разволновалась и покинула комнату , не в силах присутствовать при разрушении своей мечты. Она уже согласилась и на одну бархатную коробочку. Десять — это многовато. Но платье и лимузин записались на её жёсткий диск, в твёрдую память.

Ведущий вышел в коридор и подозвал Анжелику, всё понимая и не выговаривая ей за малодушие. Он лишь попросил её не убегать с работы, когда гости придут и действительно сядут перед камерой.

— Договорились? — Ведущий любил это слово. — Да, деточка? Премьера, конечно, будет нелёгкой, но первое задание мы ведь не отменяли, да?

Девушка, чуть не плача, посмотрела на мужчину — и вдруг рассмотрела. Какое вдохновенное лицо! Какие мудрые глаза! Весь округ замрёт у экранов. Она даже допустила, что номер четвёртый может оказаться ветреником... Но ведущий остановил опасную крамолу:

— Работа — вот успех, который сам ведёт к вершинам! Думай о хорошем.

Анжелика побежала докладывать, а ведущий, подкрутив несуществующие усы, отправился восвояси.

Глава 36

Казнись в добрый час, на кобылу глядя, а самого положат, так поздно. Упился бедами, опохмелился слезами. Видна печаль по ясным очам, кручина по белу лицу

Я шла домой с нехорошим чувством, будто ребёнка обманула.

Васька, понюхав цветочки, успокоился. Хорошо бы, забыл мою полоумную лекцию! Ничего выдающегося в ней не содержалось: моя память может выплеснуть миллион подобных пассажей. Ваське досталось от меня кратофильской диссертацией по голове потому, что ветер подул, звёзды встали, луч упал, птица перепорхнула. А мог пойти гротесковый каскад: цитаты из писем радиослушателей. Есть у меня одна концертная подборка, где я — предмет осмысления. С одной стороны, пишет ко мне мужчина, — я зверь и пакость. С другой стороны, пишет женщина, — ничего лучше она в жизни не слышала. Суждения вынесены по одной и той же передаче. Пары вольных рецензентов собраны случайным касанием судьбы, а случайностей — море.

Иногда противоборствующие, противочувствующие стороны пишут в дорогую редакцию одинаково грамотно. Это редко, но бывает, и тогда я ненадолго теряюсь. А

потом нахожусь, и вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди-и-и... Продолжение песни известно тем, кто застал СССР. Кто не застал, пропустите абзац: не печатать же тут ноты.

От попарных писем Ваське пришлось бы ещё хуже, поскольку единство противоположностей, и некстати мог проступить образ матери, а так у него появилась возможность мнить меня жестокой или сбрендившей — и коммуницировать по умолчанию.

Через неделю мне следовало выйти на работу, но мысль об этом давила и удручала. Улетучился восторг и кураж, иссякло моё фирменное заполошное любопытство, подзасохла нежность, угасло пламя. Не впервые бузит публика. Но я впервые не желаю больше говорить. И вопросов у меня нет. Квадратная лампа с паролем очарованности «микрофон включён» перестала манить меня.

Дома я не могла найти себе места. Книги на полках угрюмо помалкивали. Рука, привыкшая тянуться к ним по любому заветному делу, не поднималась. Откуда им знать! Им, бородатым умам штучного прошлого, и не снилось, что в эпоху технологической глобальности публика перестанет быть аудиторией, сбросит иго послушания и бросится в личное авторствование, точно зная *правду*, — и начнётся кошмар.

Мы начинали это сами. Мы тащили публику в эфир. Мы до дна выпили жанровый коктейль и, не рассчитав, упились интерактивностью в дым, позабыв, что создание всегда отрывается от создателя. Сотворённый кумир (а не сотвори!) тем и ужасен, что непременно требует кровавых подношений. У него твёрдый комплекс полноценности.

Помните письмо гекзаметром? В нём содержалась провокационная просьба выдать отправителю как можно больше адресов несчастных россиян, ущемлённых в чём угодно и почему-либо. Издевательское письмо. Автор — А.Е. Кутузов. Написал, как начихал, и пропал. Странный тип, а вышло горе, и теперь я гуляю по лесам с его сыном, осиротевшим по несчастному случаю, и адрес отправителя шутки стал адресом получателя беды. Убежал учёный муж и не ведает, что натворил.

Ожил телефон, каменно молчавший две недели. Сурово позвав меня, он, Иван Петрович, осколочек аудитории, целевой сосуд греховный, выдернул из горла пробку и горячо расчихвостил мою передачу прошлого века. Я не удивилась. Модно.

Тошно.

Ну позвонил, ну не помню я эту передачу, или помню, — какая разница? — и ясно , почему беспардонно позвонил домой: на работе меня, кажется ему, нет, а высказаться *ему* хочется, *он* так долго думал, собирал мысли. Хулигански грежу: дядя листает учебник хорошего тона, но там не запрещается звонить радиоведущему домой. Дядя

решается, нанизав идеи на золотые нити логики. Результирующее колье велит носить пожизненно, ибо он просветил меня.

Хорошо Мотаеву! Есть и такой журналист. Он работает в журнале для буржуев. Он не получает писем от читателей, им чисто некогда писать, они довольны журналом. Аудитория Мотаева моется в талассо и бреется у лучших кутюрье. Ей весь этот патриотизм по такому месту, куда наши слушатели давным-давно и безвозвратно посланы верховным главнокомандующим.

Да люблю я вас! Я очень всех люблю. А вы не хотите, чтобы я любила всех. Ревнуете. Страшна вам любовь немаркированная, немотивированная, просто так, вообще , из одной посылки, что все мы твари Божьи. Нет, это плохо, пишете вы, так не пойдёт. Сначала разобраться надо, виновных наказать, а потом достойных любить.

Вот в этом мы с вами точно не сойдёмся. Никогда.

Глава 37

Из многих малых выходит одно большое. Редко, да метко. Великонек, да плохонек; а малёк, да умненек. Коротко, да узловато

Настал заветный день и окутал муниципальное кабельное флёром близкой славы. Смутные предчувствия, затаённые надежды. Главный редактор впервые появился со своей половиной.

Все нервничали, поскольку лиц, вызванных в эфир, вживую никогда не видали, не чаяли, полагая, что все они — ловкая костюмированная постановка ради глянцевых обложек.

Данный эффект и собирался эксплуатировать новый автор-ведущий: отдалённые галактики медиаперсон сами, на подлинной интерактивной основе, открывают себя самому простому человеку, попутно убеждая его в своей реальности.

Новаторская концепция! Жители галактик известного уровня, как правило, не нуждаются в доверии простого человека. Им его даже не видно.

Милостливые редкоземельные электоральные потенции *простого* тоже не занимают сих галактоидов, ибо никуда баллотироваться в ближайшие сотни лет они не собираются. Вы можете сказать — все баллотируются. Рано или поздно. Ан нет, куда все ! Только слабонервные, неспособные купить хоккейный клуб и летать на тренировки своим транспортом. Да не за шайбой побегать, а полюбоваться неназойливо.

Осветители робко включили софиты, декораторы с ужасом выставили на сцену два диванчика, уборщица смела последние молекулы человеческого иноприсутствия,

чтобы галактоидам было комфортно, свежо, стерильно.

Ведущий стоял у входа в студию, как жених на верхней католической ступеньке, ожидая счастья и личной жизни. Вы знаете, как оно бывает в костёлах: так и просится в кино. Идёт невеста; млеет он; глазеет публика и тоже млеет, в тайном ожидании, что кто-нибудь скажет: «Нет, не беру...»

Администратор Анжелика, ныне продюсер по гостям прямого эфира, мысленно пересчитывала копейки на сберкнижке — надолго ли хватит после увольнения?

Скромно подъехала машина «бентли», без сопровождения. Вице-президент банка «Ё» Нифагов и его супруга, шляпный дизайнер, вышли на люди по-хорошему, по-простому, полные слов, заготовленных в жертву эфирному гениусу. Любимая тема, успех , но в особой, утеплённой интерпретации для зрителей муниципального канала, для демоса, без пафоса, — это свежо.

Автор программы шагнул, протянул, пожал, улыбнулся, — «поднимем гумус до демоса», — очарованные греческими корнями Нифаговы растаяли, перестали замечать муниципальность антуража. Анжелика не дыша взирала на чудеса и опять верила в номер четвёртый. Главный редактор пожимал плечо своей половине. Команда программы чуяла дух межпланетного искрения, подобный озоновому.

Всё началось вовремя, как обещал ведущий. Он был прекрасен и спокоен. Телезрители, нечаянно тронувшие свои приёмники в тот день, могли видеть картинку тёплой человеческой радости: встретились хорошо и по-доброму знакомые люди. «Шоу толка»!

Нифаговы сидят на диванчике справа, ведущий на диванчике слева. На заднике студии — синее полотно, предельно аскетичный фон. Сразу понятно: шоу толка — это вам не ток-шоу. Главное — показы смысла. Где-то по старинке работают, а тут инновация: на вечернем показе дизайнер Чудашкин и светская тигрица Кошак обсудили очередные находки в области смысла жизни, — это из анонса.

Зритель дома сидит на диване, под фикусами, и ничего не подозревает. С первого кадра ему, как обычно, всё ясно, за крохотным исключением, однако спросить не у кого, да и что странного: мужчина пришёл на эфир с супругой. Большинство телезрителей тоже в гости ходят с супругами. Крохотную неясность даже огласить невозможно, не идентифицируется она — так, туманчик.

Ведущий открывает рот и говорит. Нифаговы открывают рот, который мгновенно становится общим, и поначалу говорить не могут. Зритель на диванчике открывает рот и не закрывает.

Анжелика за кулисами зажимает ротик ладошкой. Главный редактор зажимает

рот своей жене.

— Милостивый государь, — начал ведущий, — и вы, сударыня! Вы милостынница известная, и вы, господин Нифагов, тоже. Дедушка Фрейд сказал бы, что ваше, сударыня, влечение к изготовлению авторских шляп есть выражение глубоко запрятанного желания вернуться к истокам, обеднеть, а поскольку этого никогда не случится, а желание запрятано, вы созидаете воздушные, элегантные головные уборы, а голова, как известно, тоже один из самых глубоких фрейдовских символов...

Не умея выразить что-либо на языке фрейдовских символов, Нифагов жалобно посмотрел на свою жену.

— Вы понимаете, — обрадовалась она, — всё так связано... Я просто люблю красивые вещи...

— И хотите сделать всем красиво? — подхватил ведущий. — Понимаю. Я тоже вот уже несколько... хм... охвачен тем же стремлением. У вас это семейное, у нас тоже. Народ един в этом порыве, не так ли?

— Един, — кивнул Нифагов не очень уверенно, поскольку вот уже пятнадцать лет не пользовался термином *народ* ни для каких надобностей. — Моя жена чувствует веяния времени.

— И это у вас тоже семейное, — ещё радостнее заметил ведущий. — Когда вы, господин Нифагов, были молоды, как сейчас помню, вы собирались выйти на подмостки , но не ради лицедейства, а под восторженные крики «Автора!», не так ли?

Нифагов озабоченно посмотрел на дверь. Она была крепко закрыта.

— Скромность украшает, — подчеркнул Кутузов. — Я расцениваю ваше молчание как проявление кротости, а вам, сударыня, хочу представить некогда молодое дарование, осчастливившее советскую драматургию своим благосклонным к ней расположением, да-да, теперь это ваш муж, а тогда, в далёкие унылые времена всеобщего единства, когда вы лично и не помышляли о шляпах, ипподромах и заказчицах из высшей администрации, ваш нынешний супруг усердно ковал счастье, коим вы теперь наслаждаетесь, не так ли?.. так вот, он делал всё, чтобы встретиться с вами.

— Как это мило... — неуверенно согласилась дама.

— Ещё как мило! — воскликнул ведущий, вынимая из очень тёртой сумы какую-то брошюрку. — Вот!

— Это... что? — действительно заинтересовалась дама, не разглядев обложку.

Вице-президент известнейшего, мощного, сказочно богатого банка «Ё» посмотрел на свой «Ролекс»: до конца передачи сорок минут. Кожей он почуял, как

перед экранами собираются кабельные зрители, которым уже интересно.

— Книга, — пояснил ведущий. — Источник знаний. Я, знаете ли, тоже имею увлечение. Коллекционирую то-сё, и вот, представьте, сколько чудес на свете! Именно эту книгу, «Джунгли музыки», я написал, когда нуждался в деньгах, а никто не давал их мне, как ни протягивал я шляпу. Может, не нравилась им шляпа моя, но книга — понравилась. Ваш муж заплатил за неё прекрасные деньги. Я продал ему текст. Она вышла в свет под его фамилией. На вырученные деньги я положил начало своей коллекции, но об этом позже... Он не просил меня уничтожить черновики — я их оставил. Вот они. Вот почерковедческая экспертиза, вот текстологическая, вот дактилоскопическая... Он вывел себя в люди, стал членом писательского союза и набрал моральную высоту. И там, на вершине, он встретил вас! Вы помните, как вдохновенно рассказывал он вам о муках творчества! Всё это было ради вас! Вот и договор с издательством, вот первые рецензии — про это не знаю подробностей, не я писал! — но они были прекрасны.

— Вы продали свой труд? — уточнила дама у Кутузова. — Вы согласились остаться в тени? Тогда я не вижу никакого криминала в этой сделке.

— Помилуйте! — возмутился Кутузов. — Какой криминал? Я восхищаюсь провиденциальными каскадами! Ваш муж, оказывается, любил вас ещё до встречи с вами . Вы не вышли бы за кого попало, не так ли? Вы из хорошей семьи, вы подаёте милостыню только в очень дорогие шляпы.

Решительно не понимая, как прекратить безобразие, Нифагов поискал глазами кого-нибудь главного тут, но увидел вдалеке лишь круглые глаза потрясённой уборщицы , сжимавшей швабру. На той же оси, но много ближе, стояла камера, на которую, предполагалось, ему следует смотреть и говорить, а уже не хотелось.

— Ну и что тут такого? — спросила дама, переводя взор на мужа. — Быть из хорошей семьи никому не вредно.

— Господин ведущий... как вас там... что-то путает, — наконец ответил Нифагов. — Мы никогда не встречались раньше, а эту книгу о молодом композиторе Маце я написал сам, вместе с моим другом, ныне убывшим на постоянное жительство в западную страну, почему и не может быть свидетелем, но я напишу ему, и он подтвердит , что я честный человек и всегда им был...

По ходу фразы жена всё пристальнее вглядывалась в лицо потерпевшего и, казалось, что-то припоминала.

Кутузов дал ей передышку и, вдруг поменяв интонацию, заявил:

— Ваш истинный, господин Нифагов, зарубежный друг нам дал интервью по

телефону. Сейчас мы включим запись, но сначала я напомню, что «социалистический реализм — это художественный метод, который заключается в умении оценить настоящее с позиций научно предвидимого будущего, заметить в окружающей действительности становление этого будущего и изобразить его в художественной форме ». Если так, а это, разумеется, только так и, конечно, только в отношении социалистического реализма, то ваша семья заслуживает ордена! За всё! И особенно за прозорливость.

Семья вздрогнула. Муж попытался взять жену за руку. Не получилось.

— Это было бы правильно, потому что верно! — провозгласил Кутузов. — Сострадание, выраженное в ваших шляпах, сударыня, выросло из непроявленных интенций вашего супруга, в своё время взлелеянных великим художественным методом, в рамках оценки настоящего с позиций научно предвидимого будущего... Ну скажите, что это не так? Не скажете! Это так.

Главный редактор уже рыдал, и жена его тоже, и всё вокруг повизгивало, всхлипывало, а осветитель стонал от восторга. Продюсер по гостям прямого эфира, не спускавшая глаз с мониторов, предвкушала Мендельсона.

Вице-президент пожелал курить, выйти вон, провалиться куда-нибудь ближе к центру Земли, но его супруга, что-то всё-таки вспомнившая, вдруг встала, распахнула шляпную коробку, ранее мирно припаркованную у её дивных ног, выхватила перьевое изделие и с утробным рыком нахлобучила на мужнину голову.

— Дорогие телезрители! — повернулся на камеру Кутузов. — Как исключительно верно заметил в своё время старик Дарвин: «Человек при помощи совести и путём долгой привычки приобретает со временем такую власть над собою, что без всякой душевной борьбы способен жертвовать своими желаниями и страстями в угоду общественной симпатии и инстинкту, включая сюда чувства, относящиеся до мнения других. Человек, несмотря на голод и желание отомстить, и не подумает о том, чтобы украсть что-либо или удовлетворить своей мести». И после таких величественных слов, обращённых к венцу природы, к человеку, в наших школах смеют сомневаться в истинности эволюционного учения! Никогда не сомневайтесь, а мы, в свою очередь, представим вам новые доказательства научной глубины его трудов, положивших основу стремления к счастью и движения к успеху! До свидания, до новых встреч!

Оператор, не в силах противиться искушению, после «новых встреч» ещё разок мазнул по диванчику, где разыгрывалась чрезвычайной силы семейная сцена: шляпный дизайнер что было мощи лупила мужа кулаками по темени, щедро посыпая пол студии прекрасными перьями некой золотистой птички, которую было жалко.

Инженеры, словно провидевшие досрочный финал премьеры, тут же запустили в эфир подборку лучезарных клипов ретро, и первым номером — «Зайка моя!..» — запел до боли родной голос.

...Когда гости, громко выражая крайне противоречивые чувства, уехали, главный редактор подошёл к ведущему и расцеловал его, а персонал студии выставил уйму продуктов питания и выпивания. Анжелика, слабо улыбаясь, пыталась что-то спросить, но вопрос не получался.

— Деточка, ты видела когда-нибудь такое кино? — помог ей Кутузов.

Девушка помотала головой, опять переставая верить в четвёртый номер. Такого не бывает, хотела сказать она — и не смогла: было же. А если бы деточке чудом привелось очутиться в салоне «бентли», уносившего некогда дружную семью прочь от кабельной студии, она увидела бы, как вице-президент могучего банка «Ё», отрясая с плеч перьевые остатки, рыщет в поисках своих любимых сигар, хлопает по карманам и, нащупав коробкоподобный предмет, изумлённо извлекает на свет откуда-то взявшуюся Библию с закладкой, машинально раскрывает книгу и читает отчёркнутое зелёным: «Об Иосифе сказал: да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росой и *дарами* бездны, лежащей внизу, Вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, Превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных, И вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение Явившегося в терновом кусте да приидет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих»*.

* Второзаконие, 33:13—16.

Не поняв ни слова, кроме «на темя наилучшего», господин Нифагов затравленно смотрит на свою госпожу, опустившую тонированное стекло и сосредоточенно выбрасывающую в окно сигары мужа, по одной на каждые сто метров убегающего полотна столичной магистрали.

Глава 38

И велика лесина, да обухом бить её. Пора, что железо: куй, поколе кипит! Пей, кума, да не пропей ума! Говори, да не заговаривайся! Погоди, пусть прояснится; вишь заволокло!

Я пугала мальчишку, но Васька принял всерьёз. А что я, собственно, сказала ему? Что жива и пугает укоренённостью иллюзия, что культурный рост индивидуума укрепляет его морально; что пропитанная красотой личность не способна, а

непропитанная способна причинить боль и вред. Изогнутое из Достоевского, который не думал так, как его поняли. Его не поняли. Простая культурная пропитка просто укрепляет гордыню, и ничего больше не происходит.

Так же крепка иллюзия об уме, школах, иных видах накопления осведомлённости. Просветители спят по могилам, а их манифестации живут и побеждают, соблазняя малых сих то тем, то этим.

Не буду лукавить, и меня в юности посещали помянутые иллюзии. Они ходкие, лестные, любкие. Завораживают. Прирост осведомлённости удивительно легко предъявить, а за ним, вроде бы по умолчанию, можно не предъявлять никакой морали — она подразумевается.

Если вам кажется, что вышесказанное банально, не спешите миловать. Мне не до шуток: мне вот-вот выходить на работу из отпуска.

Прекрати, перестань, люди уже смеются, близко не подходят, руку не подают, им этого не надо, у каждого своё небо в своих алмазах. А ты, переходя улицу, всё-таки разглядываешь прохожих и прикидываешь: какие песни-басни-байки подойдут вон той кофте-свитеру-майке-джинсам-туфлям-унтам? Чем их развлечь и обогатить? Ты плачешь от своей бессмысленной заботы о равнодушных, но ты по горло увязла в метонимизованном пространстве города.

Мы нужны друг другу на мгновение узнавания. А вдруг оно тоже иллюзия?.. В вашей головной коробке — другое, не моё, и невозможно привыкнуть, и мозги у нас — в маленькую серую клеточку, говорил Пуаро.

Лучше молчать, но ты уже работаешь на радио, а там платят за речь.

Пассажи горечи и злости входят в привычку, и ты думаешь: ну что тебе в этом странном занятии? Действительно нелепо: бежишь на работу, как на первое свидание, садишься на стул вовремя, примерная воспитанная девочка, послушная железу дисциплины, и смотришь на красную лампочку «Эфир!», как щенок на сахарную кость, набрав лучших молекул дыхательного воздуха, чтобы немедленно превратить их в лучшие на свете слова! Как только загорится вожделенная красная лампочка.

Собакопавловский бес попутал тебя, сама оторваться не можешь и другим жить мешаешь, методично приучая к этой заразе практикантов, студентов и прочих подвернувшихся.

Если честно разобраться в природе радиокуража и огласить, — радиоколлеги перестанут здороваться. Впрочем, и так перестанут, ибо я теряю квалификацию. Я скоро стану неинтересной, потому что меня наконец напугали. Казалось бы — чем?

Анонимками? Какое редкое на Москве явление! Сокращением зарплаты? Не будем гневить Бога. Отсутствием единомыслия? С кем? А оно мне требовалось? Группа слушателей возымела отличные от моих взгляды на природу и практику патриотизма? Естественно! это любовь! а она ведь у каждого своя, как правда.

Их беду я понимаю: трудно любить родину, когда любить никто не призывает — ни зарядкой с утра, ни пионерской зорькой, ни пятилетним планом. Что это за любовь, к которой тебя не зовут? Прямо-таки свободная любовь какая-то получается, не правда ли? На грани разврата или даже за гранью.

Лесть, не льющаяся из репродуктора, — это плохо, и ухо народа недовольно. Радио должно изысканно ласкать ухо, и тогда оно радо и согласно не чесаться.

Если нет лести, ухо само сочиняет гимны себе и даже исполняет их, благо эфир ныне прямой: выходишь и поёшь. А что получается как через... ухо, то пустяки: главное — содержание.

Мы с ухом разошлись. Мой грех, по уху, тот, что для любви к родине мне не нужны средства массовой информации. Метафизическая Россия, которая в душе, у меня странным образом совпадает с той, которая окрест. Я не вижу противоречия между богатством богатых и бедностью бедных; между способностью народа занять шестую часть и неспособностью содержать её прилично; между Чайковским и — вписать по вкусу...

Кто не пьёт — не ведает похмелья. Если вы никогда не подсаживались на иглу фитнеса, вам не понять, откуда берётся оголтелая любовь к здоровому образу жизни. Остановись, не верти, не качай — всё, тебя тотально скрутит страшное эндорфиновое похмелье. Депрессия! И шибко крутишь, лыбясь во всю металлокерамическую ширь.

Губительна профессиональная любовь к родине. Профи должен качать мускулы, крепить ряды, а в рядах вести переклички — кто с нами? кто-то против нас? Масштаб идеи даёт карт-бланш.

Я полюбила дилетантов патриотизма. И нежно до слёз полюбила дилетантов веры , неловко путающих цитаты, но стремительно крестящихся на троллейбусное окно, за растёртой кляксой которого показались купола.

Дилетанты не знают, *в какой ложке* держать руку.

Глава 39

Лучше не договорить, чем переговорить. Не спеши языком, торопись делом. Эка понесла: ни конному, ни крылатому не догнать! Красно говорит, а слушать нечего

В барабане города, один, шаром-перекати-поле в карусельчатых московских улицах, среди безмолвно-прозрачных, призрачных людей, Кутузов падал в себя прежнего , задёрганно философствующего, а здесь, в баблотеке, у подножия Библиевой пирамиды, нежась в гагачьем мешке на бескрайнем журнальном столике, он обретал иное, твёрдое и уверенное, чёткое *я.* Прошлое усыхало, трескалось и так приятно осыпалось, что слёзы выступали. Как учёный человек, свято верящий в причинно-следственные связи, он ежедневно благодарил Аню, — конечно, мысленно, — за кров и метаморфозы. Хотелось поблагодарить ещё кого-нибудь, но не видно кандидатур.

На их общей душевной территории не было третьих лиц — ни супругов, ни детей, ни друзей дома, ни старых обид, ни отдалённых планов. Будущего, как Луны, друзья не касались. Каждый занимался своим делом, не мелоча контрагента. Обслуга латифундии носила плащи-невидимки: бензин самоналивался, мерсик мылся, еда голографично росла на тарелках-самобранках, голубоватая вода текла из надраенных до золота кранов, мчались электроны с посвистом по проводам, облака белели голубым снегом, а чудотворный воздух, умиляя лёгкие, впитывался в благодарно светлеющую кровь.

Под иной обложкой ситуация была бы идеальна для чистой, фильтрованной, артезианской, слабоминерализованной, ароматной негазированной любви, — но под имеющимся переплётом тетрадки стояли не в том порядке.

Один раз Аня позвонила Магиандру домой и попросила за отца не беспокоиться, на что Васька фыркнул и уверил её, что даже на кафедре никто не беспокоится.

— Почему никто? — почему-то удивилась Аня.

— У него жена умерла, знаете ли, девушка... Все решили, что страдание непосильное временно вывело его...

— Вася, ты меня совсем за блондинку держишь?

— А ты разве перекрасилась?

— О-о-о... С твоим отцом разговаривать легче.

— В добрый путь. Мне не жалко. Поговорите себе на здоровье. Я с ним уже наговорился за...

— ...свои невыносимо долгие двадцать лет.

— Слушай, подруга, я смекнул: ты тоже хочешь с ним... двадцать лет пробеседовать? Ты ему только намекни: он рта не закроет.

— Дурак! — почему-то обиделась Аня. — А ещё православный... Сохрани этот номер. Пока.

Крайне информативная беседа не оставила у Васьки вопросов: батя завёл

седативные шашни. С одной стороны, его можно понять. С другой — нельзя. Всё как у людей. А номер телефона не сохранился: определителя на домашнем не было.

Кутузов сказал Ане, что устроился на телевидение консультантом по русскому языку, но она не поверила. Он и не настаивал. Она потом узнает правду и восхитится. Он хотел восхитить её. Деньги он заработает на гламурных идиотах и выкупит у зверя свою Библию, а потом совершит ещё что-то потрясающее, звонкое, великолепное. Пока не известно что. Все старые затеи — банкроты. Новые не приходят, не увлекают, и даже милый друг удав что-то перестал извиваться, не сыплет горошинками жемчужных литер, не давит и не дарит.

Сегодня Кутузов млел на журнальном столике, светло глядя в потолок. Мозговые отделы бойко сплетничали, до последней буквы вылизывая сладчайшее воспоминание о минувших эфирах на кабельном телевидении.

Мир притих, опасаясь потревожить негу телегероя. Аня лежала в кожаном кресле, перелистывая русско-китайский словарь. По выходным она учила новые языки, но сегодня решила побездельничать, поэтому рассматривала книгу, известную ей до молекулы. В её левой ладошке дремал мобильничек. Кутузов дал Анжелике номер Аниного телефончика, чтобы продюсер по гостям услышала в трубке её мелодичное *ни хао*. Престиж.

Правая рука профессора поглаживала основание пирамиды, в которое заложены самые крупные экземпляры коллекции. В очереди на дарение они последние. Рассосутся мелкие, верхушные, разойдутся по гламурным конурам алчных пустобрёхов, таящих свои суеверия под личиной веры, тогда он раздаст огромные нижние кирпичи тем, кто вызовет у него хоть одно доброе чувство, например, доверие, или приветливость, или расположение. Или даже любовь.

Сейчас он остро, иголочками по телу, с настойчивым блаженством переживал второй эфир, куда был зван и явился враг. За тот час Кутузов пережил нечто необъяснимое и пытался понять зубосверлящее переживание, но понимание ускользало, не находя никакой разумной опоры.

Кабельная телередакция не имела претензий к философским позициям випов. Конфессиональная ориентация, финансовый взлёт, половой размах, личная судьба — всё это не имело значения в свете генеральной линии «Шоу толка»: нужна невидаль на грани нового жанра. Об этом и был договор с главным редактором. Кутузов и совершал: невидаль на грани.

Пришёл в эфир отец Анисий, необычайно популярный в широких народных

массах. Батюшка был прекрасная картина. Осанистый, бело-розовый в пушистой седой бороде, игрушечный носик пуговкой, живые круглые глаза, стрельчато удлинённые к вискам гусиными лапками.

Он сел перед камерой, словно в кресло дантиста, но сдержанно. «Всё-таки ровным счётом никто у нас не умеет прятать истинных чувств, питаемых к любому телевидению и СМИ в целом», — злорадно подумал ведущий, во всяком попе чуявший страшного и безусловного соперника.

Кутузов был строг и внимателен, будто монастырский благочинный. Ничего лишнего, ни единой краски в выражении. Вежливость и, будь она неладна, — наблюдательность! Он увидел, как хороши полированные ноготки гостя, и почувствовал бешеный прилив. Начиная программу, он уже предчувствовал изумительный продукт аудиовизуального искусства.

— Отец Анисий, мы с вами живём в великом и величественном городе, ежесекундно искушаемом бесами, бесенятами, красными дьяволятами... — наслаждался Кутузов речью.

Отец Анисий чуть заметно кивнул. Бесспорно. В искушаемом.

— Я думаю, вы страдаете не меньше других людей, а скорее — больше других: вы принимаете человеческие страдания близко к сердцу, вы плачете над каждым разбитым корытом вместе с этими несчастными старухами, которым совершенно точно никогда не бывать Шамаханскими царицами...

Отец Анисий кивнул менее заметно. Пуговка носика приподнялась, будто принюхиваясь — откуда понесло?

— Скажите нашим зрителям, уважаемый отец Анисий, можно ли в этих условиях, когда мир полон зла, действительно верить в вашего Бога?

— Верить или не верить — это как вам будет угодно, сударь, — неожиданно светски ответил священник, не принимая бесцеремонного кутузовского вызова.

— Мне? — растерялся Кутузов, надеявшийся, что батюшку понесёт, как и всех его сотрудников, по обычной колее типа *скорбями спасётся человек*!..

— Вам. Ведь вопросы здесь задаёте вы? Значит, это интересно вам. Иначе вы не стали бы этого делать, правда? — мягко уточнил отец Анисий.

— Любой журналист говорит прежде всего от имени своей аудитории, от народа, — защитился Кутузов кусочком из одной старой университетской методички. — А вы говорите от имени Бога. У нас с вами очень похожие профессии...

— В том смысле, что глас народа — глас Божий? — улыбнулся отец Анисий обезоруживающе добродушно.

— Именно. Вы не могли бы всё-таки ответить на мой первый вопрос? — повторился Кутузов, понимая, что это уже похоже на допрос. Неловкость.

— Нет, — просто сказал священник.

За кулисами затаили дыхание: тутошние гости никогда не отказывались говорить, ибо прихожанин любого телевидения, даже кабельного, чувствует себя обязанным и готов трещать без умолку — из ложно понятой учтивости.

Хитроумному главному редактору, как мы уже говорили, было всё равно, кто на ринге. Ему была нужна драка, потому как рейтинг. Эфир с несчастными Нифаговыми поднял его уровень со дна до нормальной плюсовой температуры, требовалось укрепить, и предпосылки сложились: на красавца Кутузова запали женщины района; на сюжетный крючок подсели мужчины, крайне воодушевившиеся возможностью раскрытия столь давних, утрамбованных, закатанных в асфальт времени проступков таким очевидным и убедительным, эфирным, образом. Документальность и необыкновенная лёгкость, с которой ведущий перезакатал прекрасного банкира в совершенно иной материал, практически линчевав, да ещё руками его собственной супруги, — это зажигательно и восхитительно, и всем очень хотелось ещё разок! Это вам не вульгарные постановочные телесуды!

Минуту поглядев на беседу со священником, редактор понял, что сегодня счёт будет иной, но при любом исходе его кабельное дело уже выигрывает, ну и классно.

Отец Анисий тоже чувствовал смятение интервьюера, но, будучи христианином, не стремился побить задиру камнями. Он ждал и ни на какой «Ролекс» не поглядывал.

— Почему — нет? — удивился Кутузов. — Ведь вы проповедник, исповедник, пастырь, а души наших современников отчаянно ищут помощи квалифицированных наставников.

— Современники могут получить искомую помощь в храме. Многие получают. Невоцерковлённые — тоже Божьи твари и тоже часто получают помощь, не совсем понимая откуда, но тем не менее.

— Но ведь зло — есть? — уныло и как-то хрипло спросил Кутузов, сникая и огорчаясь неведомым напастям. Тоска подкралась по венам, остудила язык. — У меня вот... жена умерла...

Инфернальных оговорок он от себя не ожидал и ни под каким видом не собирался вклеивать в телебеседы «Шоу толка» свои личные прецеденты.

— Царство ей небесное, — перекрестился отец Анисий.

Камера добросовестно проследила за правой рукой священника и перешла на остекленевшего Кутузова, который, сам не понимая, как *это* возможно, медленно

повторил за отцом Анисием его жест, будто ведомый.

За кулисами народ, включая и бледно-зелёного продюсера по гостям, и невозмутимого редактора, и необычайно оживлённых операторов, и остолбеневшую уборщицу, — сотворил крестное знамение, и Кутузов почувствовал, почти увидел, как осторожно вздрогнули в сочувственном порыве сердца всех, кто расслышал его скорбное признание. Никогда в жизни он не чувствовал никаких там этих единых порывов и, будучи стопроцентным эгоцентристом, даже не допускал подобного в мыслях. Неслыханно изумившись, он разволновался, задрожал и потерял нить беседы, и без того уж истончившуюся до неразличимости.

Священник понял и, давая собеседнику время отдыха, сказал:

— Ваша позиция, насколько я понял её, отражает смятение очень многих людей и , разумеется, не только наших современников. Этой проблеме столько же лет, сколько первородному греху, если можно говорить о летах в этом контексте.

Кутузов обратился в слух, позабыв о своей роли. Он видел, что молодая уборщица , повисшая было на плече оператора, не чуя себя, вытянулась лунным лучом и готова запеть. Её лицо излучало восторг, и это было видно, хотя в глаза Кутузову прицельно били софиты. Почему, чуть не закричал он, — почему такое волнение? Что случилось? Что такого сказал он и что сказал отец Анисий, отчего полетел весь его умысел?

— И вся коварная затея змея провалилась, — словно расслышав мысли Кутузова, отметил священник. — Как вы думаете — почему?

— Провалилась? — эхом отозвался ведущий.

— Да, затея змея провалилась. Книга книг прямо говорит нам об этом.

— Я наизусть её знаю, там нет о провале... — слабо восстал ведущий, который уже *не вёл*.

Пестроте реакций на это сообщение позавидовал бы любой артист: главный редактор замер, будто услышал в эфире призывы к свержению существующего строя. Уборщица светло улыбнулась и обмякла. Оператор навёл покрупнее на лицо священника , ожидая уличений, проверок по тексту и прочего. Продюсер по гостям нервически хихикнула, не поверив ушам (такой красивый мужчина, а Библию наизусть знает!..); персонал студии закурил по углам. Кабельные телезрители понемногу начали звонить в студию. Один отец Анисий воспринял это сверхъестественное заявление Кутузова так мирно, будто погоду передали.

— Сейчас многие люди могут видеть нас. Надо дать телезрителям что-то полезное, иначе зачем они тратят время на смотрение! — предложил Кутузову отец Анисий.

Анжелика снова хихикнула: ведущему предлагают поработать! Ловкий парень этот отец Анисий!

— Конечно... — слабо согласился ведущий. — Многие люди вообще перестали понимать, зачем эти средства массовой информации так бурно плодятся и так никчёмно размножаются.

Кутузов был готов спрятаться на груди у священника, свернуться под рясой, укрыться под огромным блестящим крестом, золотисто-мягко лучившимся под агрессивным светом студии, — только бы скорее всё это кончилось! Правую руку жгло, и всё сильнее. Она, как чужая, бессмысленно пошевеливала пальцами.

— Отражение мира по кусочкам — попытка возвращения в полноту райского видения, когда всё было видно и слышно, и можно бесперебойно общаться с самим Богом, и ничто человеку не мешало, и не было расстояний, а вместо времени была нормальная вечность, — объяснил отец Анисий. — Сейчас, интуитивно понимая ущербность своей неотмоленной дуальности, человек лихорадочно создаёт каналы и канальчики, чтобы купно восстановить былое поле непрерывистой благости и красоты. Технологическая революция, при всей своей заполошной бессмысленности, один-единственный настоящий смысл всё-таки содержит. Вся эта жадная мировая деятельность по производству никому, казалось бы, уже не нужных информационных продуктов, всё это кипение креативности, — это наш общий крик и порыв к Нему. Мозаично-калейдоскопичный, неосмысляемо переполненный поток информации обрушает любую личную попытку понять его, но не стоит и пытаться понять его, совсем не стоит. Он есть проявление каждого, как переводная картинка; то, что раньше, до технологий, хранилось в душах, вырвалось наружу, и мы заметили, как нас много и какие мы разные, и всем стало страшно.

Пока немой ведущий глотал воздух, в прямой эфир дозвонились озадаченные зрители. Анжелика, брошенная на телефоны в помощь режиссёру, вывела первый вопрос .

— Отец Анисий, вы так вдохновенно говорите о прессе, что мы смущены. Она гадкая, лживая, продажная, а вы поёте ей почти гимны. Как же так? — риторически спросила женщина предпенсионного возраста.

Пастырь не удивился. Вся его повседневность состояла из повторений-мать-учений, поскольку иным людям действительно уши неизвестно зачем даны.

— Я люблю СМИ только за это: микрозеркала, — перешёл он на мирскую семантику. — Вертятся, зайчиков пускают. Иногда отражают фрагменты мира. Чаще искажают, но и это всё субъективно. Главное — тенденция; я понимаю тенденцию:

вернуть полновидение, полночувствование, утраченные первыми людьми после грехопадения, когда они стали смертными. Современные СМИ борются со смертью, хотя , конечно, не понимают этого.

— И всё? — глуповато спросил Кутузов, уже смирившийся со своей ролью ведомого. — Сумма СМИ есть отображение всеобщего богопознавательного порыва? Это тотальное безобразие называется борьба со смертью?

— Не судите. На вас устремлены тысячи глаз. Вас очень внимательно слушают сейчас, и даже дети.

— Скорее, вас, отец Анисий, — начал приходить в себя Кутузов, и правая рука, чуть не сгоревшая после крестного знамения, наконец немного похолодела.

— Дорогой отец Анисий! — панически закричала вторая телезрительница, выпущенная в эфир Анжеликой. — Вы в Бога-то верите?! Какого чёрта, прости Господи, вы там сидите и хвалите наши навылет купленные средства массовой информации?!!

Анжелика немедленно отключила звонок и безнадёжно глянула на главного редактора. К её удивлению, он кивнул — давай. Всех в эфир! Пусть несут что попало.

— Спаси и сохрани... — пробормотал Кутузов, чувствуя, что правая рука опять греется.

— Верю, — улыбнулся отец Анисий.

— Я вижу, зрителей заинтересовала наша встреча, — заметил ведущий недобро.

— Конечно, всех волнует непрекращающееся давление СМИ, — пояснил отец Анисий. — Наверное, будут ещё вопросы?

Анжелика, зажмурившись, вывела в эфир сразу два телефона.

— Батюшка, да вы хоть знаете, что религия — опиум для народа? — жёстко спросил мужчина зрелых лет, инженер. — Обман!

— В оригинале нет предлога «для», — ласково напомнил батюшка, погладив пушистую серебряную бороду.

— Что вы слушаете их?! — прозвенел подростковый фальцет. — Я вас, отец Анисий, уважаю и прошу не обращать внимания на разные там вопросы! Всё дело в деньгах. Их надо просто отменить!

— На Земле очень много денег, — ещё мягче напомнил отец Анисий. — Вряд ли можно их все отменить.

— Наши отцы строили коммунизм! — ещё звонче возмутился подросток. — И особенно деды! Они верили, что деньгам конец! Это было главное, чтобы никто не выделялся деньгами, тогда уничтожается зависть и прочее. Я сам слышал! Почему же сейчас все забыли об этом? Ведь верили! Взрослые, умные люди, победившие фашизм!

Анжелика убрала руки с аппаратуры. Руки опустились. Девушка не страдала повышенным ай-кью, но вопиющее отсутствие логики могло поразить и сухой пень. Настойчивая неприязнь телезрителей к наличным доводам гостя вкупе со стремлением выворотить беседу на свою сторону — всё это впервые предстало перед обескураженной до беспомощности труженицей фронта видимости. Бедное сердце забилось неритмично, будто всхлипывая.

Кутузов чувствовал себя ещё хуже. Ладно, вышел из роли, передал бразды отцу Анисию, ладно, батюшка справляется, ему реально сам Бог велел, обучен красноречию, но телезрители! Будто катком асфальтовым они прогладили его тонкоузорные затеи, его учёные изыски, хранящиеся в сердцевине сердца. Все его рефлексии, гордость и борьба за вполне научный атеизм — всё полетело псу под хвост, когда он понял, что никто никого не слышит, а всяк упивается токмо личной фиксой.

— А я гедонист! — восклицал очередной телесобеседник, выпущенный трясущейся Анжеликой, за руками которой лично приглядывал главный редактор.

— Очень интересно, — сказал отец Анисий. — Не затруднит ли вас объясниться? Что это такое?

— Цель жизни — удовольствие! Наслаждение! И цель искусства та же! И даже вещания кабельного... цель — наслаждение! — Высокий голос не очень трезвого телезрителя имел диапазон октавы так три, рыдальчески взмывал и падал, звеня. Странный голос, кукольный.

— Целью жизни наслаждение никак быть не может, — объяснил отец Анисий. — Если оно — цель, то оно недостижимо. Могу только посочувствовать вашему заблуждению.

— Почему это недостижимо?! — обиженно завизжали сразу два телефона, и уже было не разобрать, где чей голос, поскольку к разговорам подключились и семьи абонентов, и, кажется, домашние питомцы — в эфире пищало, мяукало и даже хрюкало.

— Если вы в данной точке времени-пространства думаете о грядущем наслаждении, стремитесь к нему, то, достигнув цели, вы не сумеете насладиться, потому что и точка отсчёта переместится вместе с вами, и цель уйдёт на прежнее расстояние. — Оперный баритон отца Анисия легко перекрыл общий визг.

Кутузов чуть не подскочил. Он понял! И не важно, дошло ли сказанное батюшкой до телезрителей, он — понял! Он понял, почему погибла его жена. Это было как озарение, вне любой логики, но всё стало на свои места, даже растерзанная Библия, на ремонт которой он сейчас и зарабатывал деньги, мучая граждан свежевыдуманным «Шоу толка».

— ...а если вы наслаждаетесь, радуетесь, не стремясь для этого в будущее, то есть в никуда, ведь оно ещё не наступило, — значит, вы уже умеете жить сейчас, вы уже достигли того, к чему иные только стремятся. Вы уже умеете жить. Жизнь уже началась. И тогда вам даже в голову прийти не может, что цель жизни — наслаждение. Так думать и так чувствовать — это не жить, а только готовиться к жизни. Беспокоиться о спасении души в состоянии ожидания наслаждения невозможно, да и некогда: жизнь-то еще не началась!

Зрителям всё это не понравилось. Философические речи батюшки всех смутили, особенно слово «наслаждение», оно резало слух, и звонки посыпались как горох.

— Какое право имеете вы говорить о наслаждении? — кричали отцу Анисию, забыв, что эту тему вбросил телезритель-гедонист. — Душеверть какая-то!

— Вы что, не понимаете, что вас и дети могут услышать? — солидно возмутился голос классной дамы типа из школы раздельного обучения.

— Там вся улица завалена блестящими журнальчиками, вот уж где сплошное наслаждение, вот это да! — будто похлопывая себя по ляжкам, прокукарекал какой-то сварливый мужичонка, явно алчущий неких запретных шалостей.

— Вы растлеваете молодёжь! — уверенно заявил отцу Анисию резкий молодой голос, в котором Кутузов узнал скинхеда из аптеки, пытавшегося защитить человечество и кассиршу от известного опиума.

— Нам не нужны эти ваши наслаждения! — пискнула немолодая девица пионерским голосом, очевидно, поправляя при этом синий чулок.

— Вы нас ещё пригласите на парад всяких меньшинств! — зашёлся в превентивном негодовании явный ветеран Куликовской битвы.

Студия гудела; восхищённый персонал, уже не скрываясь, курил на пороге, и дым, колыхаясь под софитами, затуманивал изображение, создавая волшебственные эффекты. С каждым телезрительским звонком отец Анисий, получалось, всё глубже уходил в сизоватое облако. Некурящий Кутузов закашлялся. Главный редактор наконец очнулся от изумления и повыгонял курильщиков всех вон. Дым волнисто повис перед камерой. Анжелика, словно робот, нажимала и нажимала на кнопки, выводя, как было велено, всех в эфир, и наконец услышала приветливый, добродушный возглас:

— Эй, ребята, я всё понимаю, но у вас по программе уже десять минут кино, а вы всё базарите!

Главный махнул Кутузову — прощайся уже, но ведущего душил дым, и глаза выпрыгивали от мучительных усилий удержать кашель, говорить он не мог, а отец Анисий, обращённый к кулисам спиной, не мог разглядеть отчаянной жестикуляции

редактора.

— Слово «наслаждение» почему-то вызвало у всех зрительских групп образы половой жизни, — озадаченно проговорил священник во внезапной тишине. — Это беспокоит меня. Неужели вам неведомы какие-нибудь иные наслаждения? В принципе?

Видя страдания опучеглазевшего Кутузова и понимая, на сколько часов эфира может хватить батюшкиного красноречия, главный сам запустил в эфир заставку и приказал крутить плановое кино. Телефон продолжал трещать.

Убедившись, что программа закончилась, Анжелика обречённо спросила у главного:

— Нас закроют?

— Нас будут на руках носить! — успокоил её он.

— Извините, кашель. Я не курю, — прохрипел Кутузов, отстёгивая петличку. Дым всё ещё слоился и крутился над головами.

Задумчивый отец Анисий терпеливо ждал, когда и его отстегнут, но о нём забыли. Видимо, это участь любого героя. Подождав, он сам убрал микрофончик, встал и попросил воды. Анжелика спохватилась, побежала, Кутузов попросил разрешения пожать отцу Анисию руку, редактор выразил восторг, подчеркнув основополагающую роль священника в несомненном успехе передачи. Выждав паузу, отец Анисий чуть поклонился всем и пошёл было, но главный почти вцепился в его рукав:

— Приходите к нам на следующий эфир!

— Как-нибудь, спасибо, при случае, договоримся...

— Приходите завтра!

— Завтра директор казино... — напомнил Кутузов.

— Круглый стол! — воскликнул главный. — Все вместе поговорите! Пожалуйста, батюшка, у нас так не хватало вас!

Кутузов почти обиделся на главного редактора, лихо ломавшего заготовленную схему поступления гостей, но батюшка, присматривавший за ведущим, прочитал его мысли.

— Откажусь, простите, вынужден отказаться от завтрашнего, служба, лучше на следующей неделе, — предложил отец Анисий и угадал: Кутузову сразу полегчало. На следующей неделе «Шоу толка» либо закроется, либо пойдёт без него. Наступало время нести деньги реставратору, спасать любимую.

Кутузов жадно глядел на отца Анисия, как в последний раз, и мечтал поговорить без свидетелей. Правая рука онемела, голос охрип, как у вульгарного враля, воспалённые глаза бегали. Батюшка сочувственно посмотрел, подумал секунду и дал карточку с

адресом.

Глава 40

Не так живи, как хочется, а так живи, как Бог велит. Одна корка, да и той подавился. Кобылка есть — хомута нет; хомут добыл — кобылка ушла. Одному сбылось, другому грезилось

— Хочешь, купим тебе кошку? — спросила серьёзно Аня.

— Что?.. — вздрогнул Кутузов. — Почему кошку?

— Можно кота, конечно, и собаку, но кошка лучше, мягче и приятнее.

— Зачем ты смеёшься надо мной? — Кутузов мучительно, как из-под глины, всплыл на майдане птичьего рынка: только там и продаются, понятно, кошки, крокодилы, абзац, туманные видения, книжки.

Всё наяву, и всё придётся прожить без наркоза, — память оттолкнулась от явленного мира и улетела к возлюбленной книге. Приближался день освобождения заложницы от общества скряги, шантажиста и труса.

Аня подошла, села рядом, тихая, пружинная.

— Кошка круче. Рифма — живуче. Ты заработал необходимое?

— Почти. Ещё один день.

— Неужели консультирование по русскому сейчас дорого стоит? Так славно мне платят лишь за китайские консультации, сопряжённые с двойным синхронным переводом всей наличной картины мира куда-нибудь в финно-угорские дебри.

— Ты с самого начала не поверила, что я работаю. Но если разобраться, все мы, говоря по-русски, друг друга консультируем.

— А если разобраться без демагогии — всё-таки чем ты занимался в крупнейшем районе столицы почти неделю? Над чем, так сказать, работал?

— А я могу иметь маленькую тайну?

— Нет! Ведь это я повезу тебя к мастеру психического наезда, и чтобы с тобой ничего не случилось, я хочу быть спокойна, что моя машина участвует в благородном и безопасном ралли. Кошку возьмём с собой и...

— Ты суеверна? — удивился Кутузов. — Ты суеверна!

— И потому опекаю тебя, — согласилась Аня. — Купить кошку?

— Ненавижу кошек, — потянулся на своём столике профессор и свернулся в клубок. — Ты меня любишь?

Аня погрозила ему пальчиком и ушла на конюшню за новыми глянцевыми

журналами. Кутузов накрылся периной и задремал. Происходящее оставалось нереальным, как и прежде. Предложи подруга слона или птеродактиля — и удивиться не удалось бы. Сюда могли зайти любые динозавры.

Диковинно тягучее, круглое прозрачно-гуттаперчевое время: прожив на даче несколько недель, он ни на секунду не проснулся, не приблизился к открытой, холодной, обычной жизни. Будто в утробе матери, ему тут было невместимо хорошо, и все его сенсоры регистрировали блаженство, а разум визировал: «Сон — и какая-то задорная нерождённость. Не может быть! Вот-вот проснусь, и опять студенты, семья, собирание в дубовый гарем ненавистных антикварных возлюбленных, тайное превосходство и явная скука».

Кошка. Хм. Почему она сказала про кошку? Может, про кота? В памяти Кутузова был один убедительный кот, из полудеревенского детства, где молоко, бабушка, цветы, кусты, речка, — и всё пронизано райскими лучами приготовлений: когда-то настанет изумительное будущее, полное, весёлое, сильное! Как ни парадоксально, волшебство удачного детства, приучая иных счастливцев к ожиданию как радостному и комфортному состоянию, часто оборачивается долгой тягомотной детскостью. У иных вырождается в инфантильность. Сейчас Кутузов это понял, резко, будто угодил в капкан. Детство! Пока оно живо, взрослый — дурак, а не взрослый. Да, не каждому полезно дивное, неоценимое, зачарованное детство подле невероятных котов. А именно.

Будучи простодушным котом-гулёной, блестящий лаком антрацита Черныш одновременно был самое загадочное животное на свете. Любвеобильный, как положено родом, он выходил за ворота важно, будто по красной ковровой дорожке на фестиваль, нырял в кусты и довольно быстро возвращался — вдвоём. Бабушка уже готовила миску. Черныш почтительно приглашал новую пассию на обед и садился в сторонке. Пушистая дама трапезничала, бабушка подкладывала, и когда гостья насыщалась, к миске неспешно подходил Черныш. Закусывал, а потом уединялся с уже умывшейся подругой.

Традиция не нарушалась годами! Ни разу этот боброво лоснящийся чернотой красавец не сбил схему. Только так: приглашение на обед — потом любовь.

По-своему рецензируя манеры Черныша, его подруги уже сами приходили под ворота, садились и ждали. Бывало, по десяти красавиц призывно мяукали, будоража память неверного любовника, и бабушка даже не пыталась разогнать концертирующих дам, поскольку любовь, о да... И округа полнилась чёрными кисятами, как современный Париж отпрысками бывших колонистов.

Кутузов потряс головой, поморгал, — не помогло. Два человека в нём ужились, но не встретились. Один доживал старые долги, другой плыл по волнам и любил Аню

восторженно, как дошкольник няню и сказки.

Аня — природная сказочная красавица со светлой шёлковой кожицей, тонкими косточками. Необъяснимо умная и очень изящная конструкция, танец Пана под ангельское пение, синтез биологических и социальных искусств. Одежда пижонских марок — небрежно, легко. Мир людей в Ане, как трутень в улье, играл строго прописанную роль.

Кутузов старался не смотреть пристально, не познавать Аню, поскольку реальность ускользнула и безо всяких поющих ангелов. Первым же взглядом на тонкое, из ажурного золотого света, незаслуженное произведение человечества он обжёг своё зрение, будто электросваркой. Брызги осенней жёлтой ярости, павшие листья на мокром асфальте. Она — вещая птица, он — прах и усталость.

Аня видела и понимала. Летала невидимкой. Дом, работа, хлопоты, гость и его пирамида. А что Кутузов мужественно красив, она и заметила, и запамятовала, выбросила. Она спасала душу человека, уверенного, что души нет.

Кутузов подошёл к ангелу, взял за плечи, — какая банальность!

— И что мы с этим будем делать?

— Не знаю, — искренне ответила Аня.

— Давай ко мне, под пирамиду. У тебя сейчас никакого юноши, никто не обидится?

— Нет. Никакого.

— Иди сюда, чудо природы.

Они пошли. Кутузов лёг и устроил Аню, подставил плечо, погладил её голову:

— Лучшее, что есть в Ане, но лишнее.

— Не думаю, — ответила девушка.

— Интересно всё-таки, когда люди научились думать? Мои студенты так часто спрашивают об этом, будто знание общечеловеческого анамнеза может поддержать их на экзамене.

— Я могу ответить им словами твоего любимца: «Я видел в зоологическом саду павиана, который приходил в величайшую ярость, когда сторож вынимал из кармана письмо или книгу и начинал читать ему вслух, и его ярость была так сильна, что раз я был свидетелем, как он искусал до крови свою собственную лапу». — И Аня помахала рукой.

— Хорошо, я не буду читать павианам ни писем, ни книг. — Кутузов подул на израненную кисть. — Всё, не болит?

— Ты очень приятно дуешь на павианкину лапу. Всё прошло. А ещё надо сказать студентам...

— ...словами того же любимца?

— Да. Вот это: «Каким образом развились впервые умственные способности у низших организмов — это такой же бесплодный вопрос, как и тот, каким образом впервые развилась жизнь. Такие задачи принадлежат далёкому будущему, если только их когда-либо суждено решить человеку». Эту цитату я знаю на пяти языках. Господин Дарвин был честен пред неблагодарными потомками, — провозгласила Аня.

— В отличие от господина Энгельса, мощно изобразившего первобытного трудягу, неуклонно умнеющего от своих первотопорных махов и неотвратимых озарений !.. — согласился Кутузов. — А вообще-то человек первым делом смекнул и только, увы, потом задумался.

— Сначала смекнул, потом подумал? Ах, как здорово! Лучшее изложение эдемской коллизии! Великолепно. Сначала хочет быть *как боги*, потом расхлёбывает. — Аня веселилась от души.

— Расхлебать не получается. Видимо, только смекать и умеет, — подхватил ее настроение Кутузов.

— Я в детстве очень любила думать, — сказала она доверительно, отчего Кутузов громоподобно расхохотался, до слёз, впервые лет за сорок.

— Сидит юница в песочнице, — всхлипывал профессор, — а глубокие морщины бороздят её лоб!..

— Да, и однажды я бровью смахнула божью коровку!

— Каким образом?! — От смеха Кутузова подрагивала пирамида.

— Задумалась я! А коровка сидела у меня на правой брови...

— Н-н-а п-п-правой? Отчего ты помнишь это?

— Она упала мне на правое предплечье, обиженно покрутилась, показала темный подъюбочник и улетела вправо. Я видела и запомнила.

— И не вернулась? Ну, типа с братвой, поговорить по душам, чтобы ты бровями-то не очень размахивала во время думания?..

— Не вернулась.

— А тебе удобно лежать на моём правом плече, а, божья коровка? Может, левое лучше?

— Не знаю. Никогда не лежала на плечах. Я не знаю!

— Понимаю. Ты никогда не лежала на плече у мужчины. Правильно я понимаю? Ты, видимо, девица, и ты мыслишь.

— Да, мыслю. Девица. Я переживаю.

— Что, детка? Или о чём?

— И что, и о чём. Комплексно. Переживу — скажу.

— Давай вместе. Начни с эмоций. Потом скажи о мыслях.

— Почему в этой последовательности? — удивилась Аня.

— Настал век регенерации.

— В чём дело? — ещё больше удивилась Аня.

— Все генетики думают: каков механизм восстановления утраченных частей тела? Проблема века! Все хотят пожить ещё чуть-чуть. Старые модели им не нравятся.

— А что в старых моделях? Ты перепрыгнул.

— Старая модель была такая. Любишь — творишь мир. Не любишь — разрушаешь. Под эту модель заточена вся наша физиология, микроволны тела. Всё устроено лучшим образом. Если не думать о людях плохого — никогда ничего не заболит. Все братья, все любимые. Нет конфликта, нет искусства.

— А, понятно, становится скучно: ничего нет! — засмеялась Аня. — Знаешь, однажды я пробовала размышлять о коммунизме. Не получилось. Невообразимая картина. Все друг другу показывали бы свои вышивки, пели песни о счастье...

— Конечно, ребёнок. Я ненавижу Библию за то, что она не объясняет очевидного, но я не прав. Она понимает: абстракции — это то, что слишком ясно. Вот конкретное — это проблема. Любовь! А как любить? Или как синие твои глаза. Почему они такие синие? Почему ты такая красивая? Зачем природа выдумала это чудесное бессмысленное сочетание красоты и совершенного ума, который всё помнит, прислушивается к судьбе, спит и видит — помощь! Помощь другому живому существу! Ты что, любишь ближних, как себя? Таких не делают! Или: такие не живут. Ты зачем тут? Откуда? Ты знаешь, как любить?!

— Ты дышишь прошлым, ты насквозь им пропитан. Ты — культура мыслящего мира, столкнувшаяся с двадцать первым веком, а тут надо побольше душой, нервами чувствовать. Жизненно важно!

— Да? — беспомощно спросил Кутузов.

— Да, — ответила девочка, впервые целуя мужчину в губы.

Глава 41

Кабы знать да ведать, где ныне обедать. Человек по сердцу — половина венца. Лучше жениться, чем волочиться. При девушке я живой был человек. Холостой — полчеловека

— Ты невозможна, поскольку ты — парад рецессивных генов. Тебя не может быть. Но ты есть.

— И ты — парад... Эдакую дурь, как раздаривание Библий, затеять на полном серьёзе и меня втянуть!..

— Откуда ты знаешь? — возмутился Кутузов.

— Я же тебя выволокла с проспекта Мира — помнишь, когда ты первый раз напился? Ну, с ветераном?

— Ой, не надо.

— Надо, профессор, надо. Я всё у всех спросила, везде была, я тебя пасла. И спасла.

— Ты думаешь, не стоит платить моему реставратору?

— Конечно. Так заберём. Он будет наказан за шантаж и мздоимство.

— То есть мы пойдём на штурм? — улыбнулся Кутузов щедрой улыбкой недоверчивого деда, обнаружившего внучку взрослой.

— Вот не надо так улыбаться! — сразу вспыхнула Аня. — У меня есть конюх, он так улыбается, когда лошадей чистит.

— Мне надо провести ещё одну консультацию на телевидении. Мне надо. Независимо от денег и от конюха.

— Я отвезу тебя. А понравилось тебе работать на телевидении?

— Да. Очень. Главное — я понял, что мучило мою покойную жену, когда она писала письма в дорогую редакцию. Я всё понял!

— Это вряд ли, — улыбнулась Аня щедрой улыбкой внучки, обнаружившей деда прикованным к инвалидному креслу.

— Аня! Ты себе позволяешь!

— Разумеется. И право имею, прошу заметить!

— Возмутительно. Красива, умна. Позволяешь. Удивительно!

— Очень хорошо, что ты удивляешься. Признак живого ума и причастности к меньшинству.

— Аня. Откуда ты это знаешь?

— Всё серьёзно. Хватит играть. Всё очень серьёзно.

— Да? Всё наконец серьёзно?

— Ну, ты же не подозревал меня в несерьёзности. Ведь нет?

— Нет. Я вообще ни в чём тебя не подозревал, я ничего не понимал и сейчас не понимаю. Как очутился я, вдовец и чернильная крыса, в этих сладостных теремах, подле

красавицы, всемерно меня ублажающей, будто я что-то заслужил? Вдруг ты мне снишься ? Вдруг правы те философы, которые не знают, по которую сторону хрусталика находится действительность? Вдруг ты нереальна, растворишься в воздухе или, например, завтра выйдешь замуж? Ты, собственно, собиралась выйти замуж, я помню, ты говорила.

— А как, интересно, я могу сейчас выйти замуж? Куда я дену тебя? Здесь мой дом, он мне нравится, и откуда я возьму другого человека, который согласится жить в моём доме и не будет чувствовать мезальянса?

— Найдётся миллионер, согласится.

— Ни за что. У приличного миллионера дом уже есть, а там свои порядки, мне туда не надо. А неприличный миллионер — это что, бездомный? Я люблю всё домовитое , домостроевское. Никто не может быть источником дома для меня.

— Значит, тебе надо ехать за границу и там прикидываться бедной студенткой из России.

— Ты уже дважды заслужил пощёчину, однако ни разу не получил. Непорядок.

— Прости, пожалуйста. — Кутузов и сам уже чувствовал, что зарвался, как последний собственник, и страшно походит на ревнивца, вызывающего на себя огонь в жажде и страхе спасительных разоблачений, освобождающих от любви.

— Прощаю. Пожалуйста. Но больше так не делай. Жаль разочароваться в уникуме . Окажется вдруг, что у тебя всё, *как у людей*. Не дай Боже...

— Я начинаю слышать обертоны, которых не было в воздухе раньше, не чувствовал. Я был беспросветно каменным, а становлюсь прозрачным, ты понимаешь меня?

— Понимаю, и сама меняюсь, и растворяюсь в воздухе, будто звук, улетающий от колокольного тела в невесомое пространство...

— Приятно?

— Ничего, пройдёт. У тебя пройдёт эта отсоциальная тупость, и твоя латентная штучность обнаружится ярко, зримо, нескрываемо. Я буду счастлива, когда ты начнешь полно, всечувственно жить.

— Это возможно? Прошлое проходит, как ветрянка? Латентная штучность! Какой изящный эвфемизм для фиги в кармане!

— Скорее, как чума, — совершенно серьёзно сказала Аня, отвергая легкомысленную ветрянку. — Латентная, неуглядаемая, жгучая штучность, с которой ты пролежал полвека, будто в погребе, таясь от людей, как от нелюдей, — она вырвется, выломится и преобразится. Вернётся твоя личность, данная Богом. А то всё

размахиваешь индивидуальностью, как нагайкой...

— Вот как? Ты предлагаешь выбросить всё, что я нажил?

— Всё, конечно, не выбросишь, но атеизм и материализм — наверное. Ты так прекрасен от Бога! Но так ужасно твоё бедствие, накопленное трением о социум, индивидуальность! Она ужасна.

— Аня, ты режешь меня? Ты сошла с ума? Ты убийца? — поинтересовался Кутузов, не отодвигаясь от вещуньи ни на микрон.

— О нет, я воровка. Я украла тебя у московских улиц. Но ты не побежал в околоток, не возопил: «Грабят!» — а лёг в шкатулку и хранишься, как золотой слиток. Значит, всё гармонично.

Кутузов подумал, что пора взять себя в руки.

— Я тоже, не понимая кошмара, говорил — гармония наступила. Или говорю себе, тихо, чтобы не слышали другие, до которых мне и так дела нет, но когда проклёвывается «гармония», мне до них появляется лишь то дело, чтоб они не услышали мою правду.

— Андрей... — Она впервые назвала его по имени, решилась, догадалась решиться. — Расскажи мне какую-нибудь твою правду.

— Хорошо. Посмотри в мои глаза. Серые?

— Голубые, со стальным оттенком и крохотными рябинками на радужке.

— У тебя синие, сапфировые, блестящие, как ночное небо юга тёмной лазурью, и за ними видна громада вечного солнца. Это ми мажор. Ты вся в ми мажоре, исходящем от глаз. Когда утро, они светло-синие, и выходит вперёд основной тон — соль-диез — твоего лучистого, ангельски-непобедимого этоса, — внезапно сказал он.

Аня вскочила и перелетела в кресло неподалёку, будто сброшенная с его плеча ветром безумно-изумительных признаний.

— А ещё? — попросила она.

— А ещё есть бледно-жёлтое золото, звучащее фа-диезом, и это вторая ступень твоей тональности. Твои волосы развивают линию, гамму от первой ступени твоей общей ми-мажорности к основной ноте твоего характера, льющегося через очи, то есть к соль-диезу. Твоя красота музыкальна и естественна в самом прямом смысле: тонально-цветовом. Ты не красишь лицо, ты умная, а есть люди, которые пытаются нарисовать на себе неприродные краски, не исходящие из их этосов, не выданные им природой, а значит — запрещённые. Женщины часто нарушают свою природу: краски спорят, волны и тона конфликтуют, иногда резонируют, но так, будто по мосту рота в ногу прошла и развалила конструкцию...

— Андрей, — прошептала девушка. — Ты когда-нибудь говорил так со своей женой? Извини, я понимаю... Но я же не праздный любопыт.

— Да, всегда. Если ей было что-то важно или она чего-то не понимала из увиденного глазами, я рассказывал ей: что именно в данном случае могло открыться ушам и как связаны явления мира музыкой и цветом. В принципе ничего нового. Всё было известно в раю. Физика. Я всё это вижу и слышу своими обычными сенсорами. Жена страдала от подобных объяснений.

— В раю? — встрепенулась Аня. — В каком это раю?

— В любом, — улыбнулся Кутузов. — Это я тебе в подарок. Понимаешь, моя жена, как верующая гражданка России, бывала изредка в церквях, беседовала там с кем попало и в результате окрысилась на меня до невыносимости. Она решила, что знает истину, а я не знаю истину и никогда не узнаю. За ней, как я понимаю, и потянулся наш сын, и там прирос, но ему было проще, поскольку он не жена моя и супы не варит, ему не подавать их мне и господином своим не считать.

— Ты был господином? — уточнила Аня.

— Конечно. Иначе мужчине трудно жить. Он обязательно должен получать хотя бы гомеопатические дозы преклонения, а во что они будут упакованы — в постель или в сковороду, — это второстепенно. Азбука.

— Я слышала про эту азбуку, но не мог бы ты объяснить её азбучность в каком-нибудь понятном ключе, как про глаза? — Аня была вполне серьёзна, иначе Кутузов не решился бы.

— Большинство малышей не понимают, уча ноты, зачем на муку детям придуман до-бемоль, если уже есть очевидное си. К осознанию тональности до-бемоль мажор ещё прийти надо. Ни один учитель ни в одной музыкальной школе не решится сказать малышам, что вообще диезов больше, чем бемолей. Он понимает, что заботливые родители немедленно вызовут городового. Но и прогнать из сердца очевидное для учителя знание он не может. Это трагедия. Задача не имеет решения. Так и с твоим вопросом. Умная жена преклоняется пред мужем, поскольку ему это жизненно необходимо. А умный муж одновременно преклоняется перед женой — не важно, за что, всё равно, — потому что это необходимо ей. Они оба, по разным основаниям, преклоняются и тогда живут вместе долго и счастливо. Диезо-бемольное решение.

— Это рецепт бриллиантовых свадеб?

— Да. У нас в семье он не сработал, потому что жена ушла в чужие суеверия и её тональность, та, в которой я женился на ней и родил сына, изменилась. Поскольку жена моя не стала вполне воцерковлённой, а, сохраняя мнимую внутреннюю свободу, осталась

так себе, домашняя верующая, то она и туда не пришла, не подключила свою внутреннюю музыку к основному тону своего нового сообщества, и от меня не ушла, и сына потеряла из виду, а кончилось это и вовсе погано: влюбилась в информационный поток. Решила, что всё вызнает и выводы сама сделает. Решил малёк-филолог с океаном управиться.

— Все сообщества людей стали ей как бы иноприродны? И всё — от перебоев музыки?

— Ну, музыка при том всё равно звучит. Некая музыка всегда прорывается, пока человек жив. Некая... Замолкает умерший, не звучат его клетки, нет вибраций, передаваемых среде или получаемых от неё. Но при жизни, пока среда ощущается как мир, симфония обитания, пока есть нотоносец — надо звучать вверх.

— Ой, что это ты сказал? — Аня расслышала незнакомые обертоны, подошла к Кутузову, села, прислушалась к удивительно хрустальным нотам, побежавшим по кровеносным сосудам, как вино по бездонным бокалам.

Кутузов молчал и прислушивался к сердцу. Что он сказал?

— Я сказал — вверх. У педагогов есть профессиональная шутка: расскажи другому — и сам наконец поймёшь. Пока я рассказывал тебе о себе, я понял и жену, и сына, потом это понимание опять ускользнуло, но если оно вернётся, я смогу его узнать, наверное...

— Ты сейчас тёмно-бордовый, как нота ре... — пробормотала девушка. Пригляделась. — И начался солнечно-золотой звон, как царственный марш, властное излучение, победный ре мажор! Я вижу тебя в ярко-жёлтом ре мажоре!

— Способная девочка... — покачал головой Кутузов. — Скоро будем, не сговариваясь, песни петь. Только учти: эти знания ныне бесполезны. Современному человеку, напитанному произвольными сочетаниями красок и звуков, они — как рыбе зонтик.

— Почему? — возмутилась Аня, полонённая панорамой замысла, который никому не нужен. — Все оглохли? Но я же слышу! Вижу!

Пьянящее полнозвучие только раз коснулось её — и уже грянул в неиспорченной душе вселенский оркестр. Аня увидела музыку друга. Он был кантиленнейшая радуга. Большой колокол понимания всего и сразу до клеточных ядер потряс их мир музыкой Божьей любви. Девушка замерла, пропуская по телу волны света, увиденные кровью, нервами, поштучно каждый квант.

Кутузов наблюдал и понимал, что на его глазах происходит редчайшее чудо рождения человека, который уже не будет интересоваться смыслом жизни, потому что

пережил его полно и бессловесно. Учёный радовался, потому что научил; мужчина грустил, потому что потерял. Аня, впервые понявшая, именно какой любви осталось мало на Земле, к чему безотчётно рвутся все люди, но всё слабее рвутся, выглядела счастливой, обескураженной, потерянной, свободной.

— Потому что это жреческое знание. Толпе не нужны жреческие знания. Толпа диссонансна. Толпа не может состоять из посвящённых. А ты способна чувствовать, как в доисторические времена, ты полна от природы.

— Я и прежде не чувствовала себя частью толпы, — сказала Аня, легко возвращаясь к обычному тону. — А любовь? Она всемогуща? Её звуки, цвета — самые природные?

— Любовь земная — паллиатив, но всё ж это лучшее, что можно посоветовать толпе. И всё равно толпа уже не возьмёт. Ведь и тогда не взяла! А как Он убеждал её...

— Ты за это ненавидишь Библию? — несмело предположила девочка, понимая, что можно было и помолчать.

— Я обожаю Библию! — рассмеялся Кутузов и перекатился к подножию пирамиды, распахнул объятия, обнял основание и поцеловал ближайший кирпич в серебряном окладе, с эмалями, уголком небесного света выступавший из массива бумаги.

Глава 42

Когда занял — знаю, когда отдам — не знаю. Не струшу, так отведу душу. Отвага мёд пьёт. В баню идти — пару не бояться. Глаза страшатся, а руки делают

— Я хочу радости, — позвонил мне Васька. — А радости нет. И стихи не пишутся , и молиться трудно. Будто попрошайничаю. Нет у меня, видно, совести.

— А что есть?

— То восторги, вспышками, то счастье, наплывами, то горе, родителей жалко, — всё изменённые состояния сознания. Я понял, почему радость важнее всего: сохраняет личность. Если рад, я остаюсь собой. Если восторгаюсь или счастлив, я становлюсь кем-то другим. Лучшее чувство — радость.

— Превосходно. Рада за тебя.

— Действительно? Радостью рада?

— Ну, сочувствием рада. Сомыслием рада. Ты понимаешь *сомыслие*?

— Конечно. У меня папа филолог.

— Хорошая шутка. Ну, пока. Мне на работу. Опять в атаку. Звони при новых вводных.

— Может, погуляем в парке? — попросил Васька.

— В каком?

— Всё равно.

— Придумаешь в каком — звони.

Бросить разговор было невежливо и жестоко, но я устала от этой дружбы. Талантливый ребёнок, погружённый в кучевую тучу бед, по-человечески был понятен и, увы, даже близок, неуместно и трагично. А в памяти диапроекторно вспыхивало видение : худая тётка с антикварной Библией в руках, посреди офисной суеты, стоит, словно тонкая рябина, и к микрофону перебраться хочет — всех учить жизни. Раз и готово. Теперь её сиротинам век одним качаться. Пришла на радио «Патриот» женщина не старая, но которой осталось недолго, потому что у неё нет обоняния, — жизни учить. А нюх испорчен. Ринулась править русло мирового потока информации. Анонимками!

Не могу я успокоиться. Не потому, что профессионалы всеведения утомили невменяемостью, и не оттого, что свободные граждане теперь прекрасно разбираются в журналистике наряду с футболом и воспитанием.

Я устала от шока двойного ретро; всё время думаю о ней, вижу её ужасное тощее лицо с крошечными глазёнками-топками, беловатый язык и непомерные десны, — и боюсь её. Вот, выговорила. Пока отпуск — я терпела. Её нет — всё ещё боюсь. Идти в эфир — как по минному полю. Её совсем нет, и меня больше не пытаются уволить за неправильный патриотизм, «подмеченный группой верных слушателей». Меня не трогают «представители православной общественности», они растаяли, а все они — была она! Страх — остался. «Она сделала это!» — как орут юнцы, неприлично вскидывая согнутую в локте руку.

Вернувшись в эфир после отпуска, я в первой же программе обнаружила, что с трудом говорю. Аритмия смысла, забываю слова, неловко строю, фразы рваные, гости — на одно лицо. Многолетний кураж развеялся, как пепел, а был-то плотным и полным, как выдержанное вино. Как могло сгореть вино?

Через неделю вижу: не краснобай, но журналист во мне вянет и пропадает, а вместо него восстаёт страшная стерва, злая сука, готовая рвать провода и метать брань, и в горле першит, — какой заразы хлебнули причастные поиску правды.

Ясно, почему Васькина мать писала не в блогах, а бумажно, в одном экземпляре, на бланках. Несчётная публика блогов могла не заметить усердия и пройти мимо. Или, что хуже, приметить раритет и прямо высказаться в невидимое лицо: в блогах оттягиваются чуткие к идиотизму люди, с исключительным юмором встречающие всяческую суперсерьёзность. Покойная Кутузова не стала рисковать основами своего

бытия. А может, стоило рискнуть? Может, и жива бы осталась.

Будь она мирным блоггером, наляпала бы на меня в Сети, сняла бы зуд авторствования и не морочилась. Нет: захотелось по старинке, на клеймёной бумаге, живыми буквами, в чугунно-резной рамке славных традиций, будто верная дочь трудового народа. Чуяла дочь, как любят и ненавидят в редакциях письма в дорогую редакцию. Все журналисты млеют от письменного внимания, ибо твой щебет услышан, но каждый замирает на миг, пока распечатывает конверт.

Никогда не стала б она интернет-писателем. В блогах можно ненароком и популярности схлопотать, а её специфическому творчеству, наверное, мешала бы мысль о нечаянном пиаре моего существования. Донос *куда следует* сейчас не в моде, а как хороши, как свежи были розы горячего чувства, ныне укрытые серой ватой времени, — красная полноводная река! Хочешь исправить мировой порядок на свой лад — и пишешь на соседа, пишешь, экстатически нажимая чернильный курок.

Отдышавшись, я поскребла эгоизм, проверяя, крепко ли привинчен, и решила, что в оставшуюся щёлку ещё можно воткнуть немного жизни. Простить эту несчастную. Помочь её сыну. Позвонила Ваське, извинилась, он извинил, и мы составили заговор всё -таки разыскать профессора Кутузова и сказать ему, что всё проходит и это пройдёт. Он в курсе, понимаем, но мы решили, что семейные узы чего-нибудь да стоят, и некомильфо почтенному гражданину мотаться где попало, тем более в компании крутых беловолосых девиц. Постановили мы в меру своего понимания сюжета.

Глава 43

Глаза страшатся, а руки делают. На всяку беду страху не напасешься. И за молчанье гостинцы дают. Тот и господин, кто всё может сделать один. Не силою дерутся, уменьем

Вот оно, величие слова!.. Пока мы бились о стены, всё и топталось. Только заговор был решён, и события рванули.

Для начала Васька надумал сдать сессию. Позвонил приятелю взять билеты и лекции, поехал на край Москвы, а в гостях случайно глянул в телевизор: обернулся на голос. И сел. Не поверив глазам, позвонил на кабельную студию по номеру в бегущей строке. Продюсер Анжелика сказала: телефонов не дают. Ладно, не надо телефонов, — но кто он? Вот сейчас, на экране? Точно, собственной персоной, Андрей Кутузов. Васька попросил позвать руководство. Позвали. Уловив нестандартные интонации в голосе собеседника, редактор на всякий случай подтвердил: студия реально существует и

процветает, имеет легитимный адрес, очень рада звонку и пр.

Непредвиденные таланты Кутузова повергли Ваську в суточную немоту. Опомнившись, он поведал мне следующее.

Начало теледиалога проворонил, а вот конец ухватил.

Двое. Сидят в калошеподобных дерматиновых креслах угнетающего цвета. Жала наточены — осы обзавидуются. «Но это же совсем другая блондинка!» Васька стеклянно созерцал очевидное.

Аскетичный монохромный задник, отсутствие декора и публики. Кутузов, со сдержанной гламурностью одетый в синие классические джинсы, белую рубашку без галстука и чёрный пиджак тонкой кожи. Визави — самая популярная женщина России, одетая по понятиям. Лаконичная сценография подчёркивает выразительный облик дамы из ионосферы. Образ её перистой заоблачности создают медвежьи унты в томной перекличке с шёлковым прозрачным палантином, обволокшим узенькие каучуковые плечи с предместьями. Посередине условного туловища еле видна рыжая крошечная кожаная, вероятно, юбка. Лакированные волны глубокого лимонного тона усугубляют отрешённость длинного гладкого лица, словно умытого минеральной водой. На кислотных бедренных костях, словно только что наконец сдвинутых, лежит потёртый автомат Калашникова. Остальное холёно голо и загорело.

Кутузов чуть наклонил голову и коварно забросил ногу на ногу: он без оружия, ему легче забрасывать ногу. Женщина, Васька отдал ей должное, даже не передёрнула затвор. Она размышляла над вопросом ведущего. Судя по расположению зрачков — давно. Кутузов не торопил её — кабельное! Иные темпоритмы.

— Я хотела бы совершенствоваться в профессии. Пойду ли я в политику — время покажет, но всё может быть, — решилась она.

— Была бы догадка, а на Москве денег кадка, — согласился Кутузов.

— Вы обещали поделиться анализом, — напомнила ему девушка. — С кем я буду на следующий год...

— Помяни репу, чтоб дали капусты, — поделился Кутузов.

— Ну если в вашем *шоу толка* дают уроки фольклора, то буду рада подтянуться.

— Прямой напорется, кривой пройдёт.

— Обнадёживает. А куда идут?

Васька понял, что девушка, несмотря на прикид, обладала толикой мозгов и зрелым самообладанием. Стало интересно.

— Лихи зарецкие собаки, а наша одна от семерых отъелась, — начал Кутузов. Девушка обратилась в слух.

— Кто любит мёд, заводи пчёл! Мойся беленько, гости близенько. Гости на печь глядят, видно, каши хотят. На счетах прикидываешь, так рукава засучивай! Для щей люди женятся, а от добрых жен постригаются, — поведал Кутузов. — Пока всё понятно?

— Понятно. Только где его взять?

— У ямщика лошадь надсажена, у вдовы дочка наважена. Жениться — не лапоть надеть. О том и кукушка кукует, что своего гнезда нет. Всякая невеста для своего жениха родится, — успокоил он. — Согласны?

— С этим не поспоришь, — прошептала девушка.

Ваське почудилось, что она вот-вот заплачет от воспоминаний.

— Тошно жить без милого, а женатому хозяйка поможет, — продолжал ведущий милосердно.

— Я готова, — приободрилась гостья.

— Но! Все девушки хороши — а отколь берутся злые жёны?

— Я всё понимаю... — ещё тише прошептала девушка.

— Учись, поколе хрящи не срослись. Ум бороды не ждёт. Молодость рыщет — от добра добра ищет. Просмеёшься, в пастухи наймёшься, и протрубишься — и дров нарубишься. Богатую взять — станет попрекать! Умную взять — не даст слова сказать. Знатную взять — не сумеет к работе пристать. Из дворянства взять — надо много убору держать. Грамотницу взять — станет праздники разбирать...

— Вот они так и думают! — воскликнула девушка в отчаянии.

— Не бери жену богатую, бери непочатую!

— Именно!!! И это тоже! — Она мстительно блеснула очами.

— С лица воду не пить, умела бы пироги печь. Красота приглядится, а щи не прихлебаются.

— Я умею! Книгу выпустила, там очень много рецептов. Была очень хорошая презентация. На моём сайте есть фото. Вы разрешите объявить адрес моего сайта?

— Проймёт голод — появится и голос. Густая каша семьи не разгонит. Киселю да царю всегда место есть.

— Совершенно верно, — оживилась девушка. — Ко мне подходили мои коллеги, благодарили, всем понравилось.

— Всё на свете творится благостию Божиею да глупостию человеческою. В мире жить — мирское и творить. Своих друзей наживай, а отцовских не утрачивай!

— О да, разумеется. Ко мне в день рождения даже письмо приносили от...

— Была бы голова, а петля будет.

— Вы полагаете? — задумалась голова.

— Всё минется, одна правда останется.

— Точно ли останется? Так хочется поскорей правды...

— Когда волк будет овцой, медведь стадоводником, свинья огородником. Когда на море камень всплывёт, да камень травой порастёт, а на траве цветы расцветут.

— Не раньше? — усмехнулась девушка. — Что же, тогда точно придётся идти в политику. Хотя, конечно, я бы предпочла замуж.

— Не смигни, так и не страшно. Влез по горло, лезь и по уши. Не убита, так выиграла.

Вдруг, отбросив автомат, девушка подскочила и бросилась на шею Кутузову и разрыдалась. Петличка её микрофона отлетела прочь вместе с невесомым палантином. Медово-бронзовая спина трясущейся красавицы элегантно смотрелась на чёрно-белой груди Кутузова.

— Никогда... — всхлипывала она, — никто... вот уже несколько лет... не поговорил со мной по-человечески... все только врут, как сволочи... у-у-у... как они все мне надоели... Спасибо вам...

Слышать её голос теперь удавалось благодаря петличке, прицепленной к пиджаку ведущего. Кутузов гладил несчастную по лимонным локонам и тихонько приговаривал:

— На грушу лезть — или грушу рвать, или платье драть. Собором и чёрта поборешь. На грубое слово не сердись, на ласковое не сдавайся. Кстати промолчать, что большое слово сказать...

По экрану шустренько побежали титры: вы смотрели заключительную передачу *шоу толка*, редакция благодарит уважаемых телезрителей за редкостную активность.

Васька перевёл глаза на приятеля, который потрясённо перевёл глаза на Ваську. Оба учились у профессора Кутузова.

— Я пошёл, — буркнул Васька. — Спасибо за билеты.

— Ага. Иди. Спасибо, что заглянул, — голосом японского робота проговорил приятель. — На миру и смерть красна...

— За одного битого двух небитых дают, да и то не берут...

А накануне Васька забрёл в кабинет отца и потрогал пустой дубовый шкаф, будто спрашивал изволения поискать хозяина. Коснувшись пыльных шероховатостей, он задрожал, будто вспомнил что-то, и понёсся к другому шкафу, где томились философы. Выдернув единственный недочитанный том Дарвина, восьмой, он прочитал наугад фразу , от которой волосы его встали дыбом: «Богу известно, что если достойное удивления усердие и энергия заслуживают успеха, то вы в полной мере заслуживаете его». Богу!

Богу? Сие было писано Дарвином в январе 1859 года к А.Р. Уоллесу, учёному, который опередил его с изменчивостью видов. Годом раньше этот Уоллес вверг педантичного и крайне честного Дарвина в великую печаль, прислав ему свою статью из Annals and Mag. Of Nat. Hist., 1855. По поводу этой статьи Дарвин сообщал своему коллеге Ч. Лайелю: « Ваши слова блистательно оправдались о том, что меня опередят. Вы это сказали, когда я вам объяснял здесь вкратце мои взгляды на естественный отбор в зависимости от борьбы за существование. Никогда не видел я такого поразительного совпадения; если б у Уоллеса была в руках моя рукопись 1842 г., он не мог бы сделать лучшего сокращенного обзора! Даже его названия соответствуют заголовкам моих глав... Итак, вся оригинальность моей работы (сколько её есть у меня) будет утрачена...».

Но благородный Уоллес отказался признать своё первенство и растиражировал историю, как, будучи на Востоке, набросал свои мысли, приятно совпавшие с более поздними дарвиновскими. Под воздействием лихорадочного приступа.

Основу совпадения он увидел лишь в том, что предшественником обоих считал Мальтуса. Позже Уоллес в одном из писем к их общему коллеге добавил: «...я рад, что так случилось, потому что не обладаю любовью к работе, к исследованию, к деталям, которой так отличается Дарвин и без которой ничто из того, что я написал бы, никогда не убедило бы людей».

Слава труду. Эволюцию выдумали оба, но Дарвин усерднее, он пробьёт, — это читалось чётко.

Васька перечитал всю переписку Дарвина, где говорилось о перипетиях издания « Происхождения видов», а заодно решалась судьба человечества, и пометил вылетавшие у перевозбуждённого писателя фразы типа: «Пожалуйста, никому не говорите, что я ожидал довольно большой популярности и выгодной продажи для моей книги «о видах» (что выражает верх моего честолюбия). Если книга провалится, то мои ожидания представят меня в крайне смешном виде...». Думая защитить психику своего издателя, Мурея, от возможных и вполне предвидимых им последствий, Дарвин спрашивал в письме к геологу Лайелю: «Посоветуете ли вы мне сказать Мурею, что книга моя не более антиортодоксальна, чем того неизбежно требует её предмет, что я не обсуждаю происхождения человека, что я не касаюсь книги Бытия и пр. и пр., а привожу лишь факты и некоторые заключения из них, которые мне кажутся справедливыми, или лучше ничего не говорить Мурею, предполагая, что он не может иметь ничего против такой антиортодоксальности, в сущности не превышающей того, что находится в любом геологическом трактате, прямо противоречащем книге Бытия».

Жёстко чеканит: когда бить? У меня краплёные карты. Знаю, что делаю.

Вот это да...

Васька проследил пьянящие взлёты авторских эмоций, — любимая книга вышла на свет, — и текстологически-подкожно прочувствовал, сколь всё же велик был страх Божий в душе доброго католика, бросившего вызов небу.

Всё полное чтение поэмы о видах, этой сверкающей Фудзиямы учёного усердия, не подарило Ваське столь мощных переживаний, как эпистолярные репортажи о победном шествии сего труда по Европе и далее везде. Он увидел общее ликование друзей и коллег, по выходе книги вкусивших удовольствия прилюдно, в научных собраниях, потягаться с оппонентами такого ранга, как, например, епископ Оксфордский , и даже приписали пастырю признание в его поражении на судьбоносном диспуте о Творении.

Тысячи смертных были околдованы гибким и ритмичным слогом, ласковой наблюдательностью, чистосердечием — подлинными добродетелями Дарвина как превосходного научного писателя. Возрастает очарованность бешеной силой человеческого упорства: «Дарвин везде побеждает и несётся, как бурный поток...».

Дарвин не таков, каким привиделся Ваське первоначально. Путешественник? Поэт ? Честный натуралист? О нет. Ураган! Торнадо! И немного наивный: «Какое проклятое зло, что все эти ссоры кипят там, где должно быть мирное царство науки».

Действительно! Ведь он лично только что с фактами на руках выдумал и доказал эволюцию. Всё уже ясно, как тот самый день... Божий. Если угодно.

Васька мало-помалу проникал в душевные думы великого человека и с удручённым изумлением заодно догадывался, что страстная любовь его отца к Дарвину вытекает из яростного восхищения писательским успехом: всему свету запорошил очи. Он не книгу дал — дубину. Как тяжела и прицельна она, учёный-полупастор понимал прекрасно.

А какой был пиарщик! Любезный, галантный, он каждого искренне благодарил письменно, отвечая на любые знаки внимания, и не просто ввиду хорошего воспитания, но по делу, по самой сути каждого выдоха в его сторону, совершённого в любой, даже самой затрапезной газетке!

Развеселившись, Васька позвонил мне и с ехидцей, менторски поведал, как снайперски-нежно работали великие со своими читательскими массами. Со слушательскими надо так же. Я обещала принять к сведению.

Васька понял: Андрей Евгеньевич Кутузов жаждал больших побед. Горе *человека из деканата*. Ужасы бытования научной общности, где не бывает радостных друзей.

Упорный англичанин возвышался неодолимо. Профессор стремился на высоту с

иного фланга: окончательно добить Библию, но не пчёлками-кроликами-утками, как упоённый Дарвин, а словом современного филолога. Слово победить можно только словом. И фимиама ему требовалось не меньше, чем Дарвину. Вот зачем была затеяна эта злосчастная коллекция! Орхидеями, колибри, шимпанзе и козочками профессора Кутузова стали единицы хранения в дубовом ящике, ныне зловеще пустом. Шкатулка-гроб-изолятор-гербарий — наконец-то Васька проник в исходную символизацию шкафа. Ныне зловеще пустого!

Что значит опустение? Запустение? Ушли все, кто важен? Из шкатулки украли драгоценности? Из гроба вышел покойный — воскрес? Гербарные сущности ожили, захлопали крылышками, как бабочки, полетели-полетели, на голову се-е-е-ели? Или — в изоляторе день открытых дверей? Что совершал отец, опустошая *этот* шкаф?

Васькино сердце стучало, барабанно призывая голову активнее думать о спасении заблудшего отца.

«От чего спасать? Надо ли?» — спорили социальные голоса.

«Не рассуждай, — сказал он себе. — Думай сердцем».

«Чем-чем?» — возмутилась голова, но владелец её не послушался. Он уже рвался и стремился, он хотел обнять отца, прижать к себе и не выпускать, и гладить по золочёной велюровой плешке, и тискать за плечи, только не выпускать из рук этого ненормального, удумавшего нечеловеческие сложности, такие деньги вложившего, такие страсти разведшего — и зачем? Бороться с Богом Его же Книгой? Нашёл, понимаешь, начинающего автора!.. Припадок профессорско-преподавательского неогуманизма! В России!.. Ваське было щемяще, до прилива слёз и безбрежной ласковой нежности, ужасно жаль отца, не понимающего таких простых вещей, что с Богом легче и оправданнее жить.

Ну а на другой день в квартире у сокурсника и состоялся внезапный телепросмотр , из которого всё-таки выглянула ниточка.

Глава 44

Хороша книга, да начётчики плохи. Учёный водит, неучёный следом ходит. Стукни по голове молотом — не отзовётся ль золотом? Он по карманам молебны служит

Ночью был Кутузову огорчительный, вязкий, никак не обеспеченный дневными впечатлениями сон: будто упал на колени, на улице, но перед иконами. Рядом стоял вооружённый надзиратель с огромной дубиной: она вопила и требовала

самостоятельности. Вытребовала.

Чёрная палка эбонита улетела и пропала за небом, и — низринулась вдруг одним броском, вместе со всей твердью. И возвеселилась, и запрыгала.

Палка мерно колотилась о его темя, раздвигая кожу, как обивку двери, раздвинула , — и темя, сползая с головы кручёными, как новогодние свечи, алыми клоками, запахло тёплым свежим железом.

Оставшись без кожи на голове, Кутузов проснулся.

Утро планеты. В лесу не чирикают — поют. А чирикают — в бескислородном городе. В лесу — кружева звуков, и любая колоратура слышна через узенький паутинный звуковой коридорчик, и все солисты — в хоре, и не смешиваются. Каждую певицу слышно лично.

Кутузов узнал, о чём поёт утренний лес. И совершенно случайно, просыпаясь, проговорился:

— Господи, какое чудо...

В чёрных строгих брючках и белой батистовой блузке, с серебряным подносом — кофе, — у ворот ширмы, окружавшей логово профессора, его ждала невероятная, добрая , взрослая девочка. Услышав имя Господа, она ласково сказала пробуждающемуся другу:

— «Только наши предрассудки и высокомерие, побудившее наших предков объявить, что они произошли от полубогов, заставляют нас останавливаться в нерешительности перед этим выводом...»

— Выводом?.. А который час?

— «Но скоро придёт время, — терпеливо будила его Аня, — когда всем покажется непостижимым, как натуралисты, знакомые со сравнительной анатомией и эмбриологией человека и других млекопитающих, могли допустить мысль, что и тот и другие были произведением отдельного акта творения».

— Каким же выводом?.. — откликнулся Кутузов, открывая глаза. Длинная цитата почему-то поцарапала ухо и настроение.

— Дружище, это утренний душ. Контрастный. Вывод у него на всё был один: «... нам становится понятным, как могло случиться, что человек и все другие позвоночные устроены по одному общему образцу, почему они проходят те же самые фазы развития в самом начале своего существования и почему у всех остаются некоторые общие зачаточные органы...»

— Мозги, — предположил Кутузов.

— «Опираясь на известные нам факты, мы должны были бы откровенно признать тождество их происхождения; придерживаться другого взгляда — значит принимать, что

наше собственное строение и строение всех животных вокруг нас есть ловушка, придуманная для затемнения нашего рассудка».

Аня пригляделась: хорошо, достаточно. Кутузов шевелится, локоны поправляет.

— А птички действительно поют, как по нотам. Я вижу партитуру. Ты уже согласен, что она всё-таки есть?

— Партитура! Архитектура!.. Девочка моя, — потянулся Кутузов, — у меня сейчас крупное просветление, прочищение рассудка, и строение всех на свете животных мне так же безразлично, как устройство синхрофазотрона. Партитура, кстати, главная загадка. Но я не сдался.

— Как хорошо! Пойдём завтракать? — Она поставила перед ним белую чашечку на золотом блюдце.

Кутузов сел, повертел взлохмаченной головой, коснулся, словно амулета, пирамиды, выпил кофе и объявил:

— Начинается спасательная операция. Деньги я заработал. Срок вызволения моей книги настал. Злодей алчет евро, но думает, я пропал. Надеется, мол, дрожащая тварь, убитая страстишкой...

— Он полагал, ты не явишься?

Аня тоже не исключала, что драгоценная Библия семнадцатого века, уже вылеченная, перепродана или утрачена ещё каким-нибудь подлым и невозместимым способом.

— Детонька моя, ты беспокоишься, как я. Чудесная моя девочка, не беспокойся так, словно ты — я. Было больно, я справился и ещё справлюсь. Мы справились. Ты — моё спасение. Мне теперь осталось лишь самое важное — и всё.

— И всё, — отозвалась Аня. — Так пойдём завтракать?

Через час они сели в машину, молча пристегнулись, Аня перекрестилась, Кутузов мысленно пробормотал самодельную безадресную просьбу об удаче, мотор мурлыкнул, и началось.

На шоссе их обогнал затюнингованныый джип, основу яркой, летней красы которого составляли мелкие жёлто-розово-голубые пушистые зверюшки, преимущественно кошки, а на округлом заду улыбчато косил на дорогу добродушными глазищами крупный серо-коричневый заяц.

Кутузов посмотрел на свою водительницу: она бровью не повела. Кутузов чуть тронул её локоть — заяц ведь! И кошки.

— Ты не Пушкин, — не меняя выражения, напомнила она. — И в Москве нет Сенатской площади.

— Ты уверена?

— И ты уверься. У тебя какая группа крови?

— Кажется, первая.

— Ты из первых, из самых древних. Тебе можно есть мясо. Даже пить и курить. В меру.

— Не понял. При чём тут Пушкин?

— А при чём тут кошки, когда мы спасаем Библию?

— А-а. Ну да, да, — быстро успокоился Кутузов. — Ты же изначально не хотела платить шантажисту...

До города оставалось пять километров. Он позвонил реставратору. Заслышав неточные, смутные нотки в голосе, Кутузов усмехнулся. Через минуту за телефон взялась Аня.

Глава 45

Влюбился, как сажа в рожу влепился. Любовь не пожар, а загорится — не потушишь. Где любовь — там и Бог. По чём ноет ретивое у молодца? Сухая любовь только крушит. Не пил бы, не ел, всё б на милую глядел

Реставратор очарованных сущностей злорадно поглядывал на календарь. Нарастало последнее время. Ни секунды он не надеялся, что Кутузов за месяц-полтора найдёт три тысячи евро и тем более отдаст их за пустяковую работу, но вчера клиент позвонил и вежливо сообщил: еду. Завтра.

— Мне бы во второй половине дня... — суховато попросил мастер, соображая, как бы оттянуть время.

— В час?

— Попозже. Около трёх. Подходит?

— В два, — сказал Кутузов.

— Но... ну...

— Что-то не получилось? Эмаль потрескалась? Гравюры поблекли? Крест покосился?

— Боже сохрани! Всё сияет. Чистый семнадцатый век! Всё чисто.

Кутузов уже понял, что дело нечисто, и смягчился:

— Хорошо, в три. Около трёх, вы сказали? Я непременно буду.

— У вас наличные? — предпринял последнюю попытку шантажист, припоминая, где у него записаны нужные телефоны.

— Да. Как договорились. Три штуки.

— До свидания, — вежливо сказал мастер, вспомнив где.

Мастеру стало скучно, сиро, тускло. Праздник испорчен. Подойдя к переплётному станку, засунул руку в тиски, чуть покрутил рычаг — больно. Вытащил, подул на ладонь . Как во сне. Говорят же — ущипните меня, сплю и не верю. Ущипнул. Мир неполон и ущербен без этой книги, присушившей душу его, будто первая любовь. Она и была — любовь.

Он перевидал тысячи полиграфических шедевров, он вылечил сотни артефактов, посмеиваясь над уродами собирательства. Они все чокнутые, все трясутся, гобсеки недоделанные.

Свои, конечно, по-своему любил — он собирал издания миниатюрные, одушевлённые. Нет: миниатюрных и одушевлённых.

Сердечно ему нравились те, которые в ладони прячутся. По конфетным коробкам разложенные, микропылесосиком чищенные, они годами сладострастно тянули жилы реставраторской души, влекли милой махонькостью, беспомощностью, но и стойкостью, и надёжностью, будто лилипуты, всерьёз командующие слонами. Его малютки были концентратами счастья. Он был их командарм. Они слушались его, лёгонькие, но настоящие! Таблеточки наслаждения.

Миниатюрные книжульки он собирал ровно тридцать лет. На всех людей, отмеченных иными формами заболевания, смотрел свысока. В клубе книголюбов был на лучшем счету. Все завидовали его находкам и везучести.

Упоительно: в одном кармане Уайльд и Толстой, Маркес и Пушкин, и Барков рядом с Надсоном, а карман даже не оттопыривается. И никто не может заглянуть через плечо: что вы там читаете, гражданин? А какие у них обложечки!.. Пульсируют.

Рассуропливаться нет времени. Завтра придёт незаконный владелец той, которая внезапно ворвалась в его жизнь и принесла великое блаженство. Царица. Богиня. Лишиться красоты, не скользить утопающим в неге лиловых эмалей взором по величественному, великанскому, в серебряном окладе переплёту, им же проклеенному, вшитому ниточками точнёхонько на место — невозможно. Решительно — нет. А гравюры!

Не получив достаточного образования, сей рукастый мастер жил средневековым горожанином, для духовных нужд которого возводились нотр-дамы, эти каменные Писания, клипы, если угодно, каменные комиксы.

Созерцание гравюр в этой книге умиротворяло его вполне: там люди, звери, всё своё, все свои, как нынешние. Вербальный текст, наоборот, возбуждал вулканически,

словно приказывая: да прочитай же хоть когда-нибудь. Но как читатель он не понимал ни слова!

Он сам не понял, как это случилось. Ну, пришёл учёный вор. Принёс богатство дурной души, побитое дурой женой. В историю с покупкой Библии на птичьем рынке мастер, конечно, не поверил. Спёр, зараза. А кто бы такую усладу не спёр?

Чудо как хороша эта книга любви. К несчастью, мастер не был подробно знаком с её содержанием прежде, хотя переплёл и подновил — множество подруг её. Ныне же, приводя древнюю бумагу в чувство, он попытался наконец самостоятельно прочитать историю главного мирового заблуждения, но буквы семнадцатого века не отдавали сакральных смыслов невежде из двадцать первого. Гарнитура претенциозная и странная.

Мужик пошёл в церковную лавку, взял обычную, в современном синодальном переводе, положил рядом с *той*, начал наблюдать, сверять, постранично, по номерам.

Взор ликует, где рисовано изящно, — угасает, где простецки. Там стильно — тут вульгарно. Солидно — утилитарно. Старинные буквы стоят — современные стелются. Те поют — эти плоско бормочут. Ничего хорошего не нашёл он, сравнивая древнюю священнослужительную царь-книгу с мелким предметом ширпотреба. И возроптал.

Великая книга не читалась его глазами даже в параллельном переносе-пересмотре . Образование... Современницу и читать не хотелось, ибо в соседстве она казалась пустой обманщицей, адаптированной, будто замылилась. И сам текст какой-то верченый, с подвохами, — так теперь не выражаются. Горчичное зерно! Смоковница! Ничего не понять.

Обратиться за помощью — не в милицию же, на самом деле. Великанша-то в розыске. Да и что за оказия, мой друг... Спросить у былых клиентов: а что там в Библии написано? Да, это стало бы всемосковской сенсацией. Известный мастер-золотые-руки, передержавший в своих золотых сотни Библий, никогда не читал текста. Страшный секрет, откройся он, лишил бы частного предпринимателя практики.

Кроме тактильных, визуальных, гравитационных и метафизических причин для присвоения, переплётчик возымел историко-философские и социально-психологические. Прорезались больные, сердечные подозрения, что и вся прочая словесная магия в мире так же размылась и опростолюдинилась, как и на магистральном направлении духовного чтения. Это угнетало; будто всю жизнь ел на прогорклом масле и вдруг узнал, как звучит в желудке настоящее молодое вологодское.

Восстав против чудовищного, поистине варварского обмирщения всего заветного , а также против собственной непосвящённости, даже непосвятимости, реставратор принял железное решение: не отдам Библию. Нестерпимо: заветное остаётся

нерассекреченным, не отдалось людям, попряталось по словам, укрылось по буквам. Мир где-то сам по себе, тайный мир первосмыслов, держится за подлинные Божьи уроки , — отвратительно. «Никому не отдам. Я её вылечил, я её с собой в могилу заберу».

Неофиты, как известно, быстро фанатеют. Он и завещание написал, чтобы данный экземпляр Книги был положен в его домовину, буде придёт его срок. Нотариус, подкрепляя сие распоряжение законом, шевельнул бровями, но промолчал.

Когда позвонил Кутузов, реставратор чуть не умер от досады, потом оклемался, полистал записные книжки, подумал и набрал номер.

— Дело есть, — строго сказал он кому-то, кто не удивился. — Около трёх. Завтра. Три штуки. Половина тебе. Евро. Вдвоём? Твои проблемы. Короче, запоминай подробности...

Закончив с оргвопросами, реставратор перенёс Библию в кладовку, спрятал в кованый сундук и повесил амбарный замок. Голова ещё попискивала, пытаясь убедить сердце не черстветь, но сердце, в целом томимое несокрушимой страстью, тут же, воображая разлуку, леденело. Хуже: покрывалось танковой бронёй.

Запечатано, замуровано, заколдовано в этой книге, кроме роскоши убранства, торжественности шрифта, загадочности смысла, — что-то ещё. Тяготение, превышающее гравитацию. Тяготение всего нервного состава тела. Почему?

Мастер прилёг на кушетку, закрыл глаза и во укрепление решимости погрузился в наслаждение обладания. Он увезёт сокровище на дачу, в глухую деревню свою, давно слетевшую с придорожных указателей мира. Унесённая перестройкой! Её нет на карте. А домики есть, и даже очень. Люди у нас оборотистые.

О последствиях он старался не думать. Какие последствия? Что похищенная из музея Библия семнадцатого века нашлась, знали только он и Кутузов. Жена Кутузова, курица ненаглядная, только порвать её сумела, солнышко, доски отбить и кофе разлить, спасибо, милая. Вряд ли муж поведал ей, откуда дровишки.

Только вот где он бабки такие непрофессорские добыл? Это жена может и знать. А может и не знать, — он ухмыльнулся. Зачем ей? И всё-таки...

Задремав, он увидел нежно-салатовые берега деревенской речки с колюче-холодной голубоватой водой, а на белых камушках, на дне лежит писаная красавица в сарафане, с эмалевыми глазами и тянет к небу серебряные руки, напевая мелодию, которую не разобрать и не повторить, словно её тоже написали церковнославянскими словами.

Резко распахнув глаза, мастер в страхе понял, что везти Библию в деревню нельзя. Но почему? Сон, увы, назад не перекрутишь. Раздор и беспокойство; горло перехватило.

Встал, пошёл почаёвничать. Чёрт-те что! Пуганый француз и от козы бежит, — припомнил он бабушкину пословицу. Бабушка не любила Наполеона и до самой своей кончины по-детски восхищалась результатами обеих Отечественных войн, а в наследство внуку оставила уйму прибауток и поговорок, а вкупе — священное влечение ко всему, что старше ста пятидесяти лет.

«История! Бабушкины сказки! Сколько было человеков, а сколько стало — людей ! Простолюдей. Эй, вы, простолюди! Из-за вас, бетонно-ватно-тупых, бессмысленных и беспощадных, из-за вас я не понимаю, что *там* написано. Когда вы были простолюдины, вы знали своё место, жили по статусу, «Бог видит, да нам не сказывает», а теперь не знаете. Шумите очень. Из-за вас, дурачьё, суперважный текст не проходят в школе. Я вас ненавижу». «Воры не родом ведутся, а кого бес свяжет», — шепнула бабушка с того света. «Да не вор я! — возмутился реставратор. — Вор — Кутузов. Не я. Спасаю вещь. У него их сотни. И все слова наизусть знает. Зачем он эту спёр?» «Вор слезлив, а плут богомолен», — опять бабушка не спит, непонятное подсказывает, обижает и мучает.

Звякнул телефон. Ещё какой-нибудь простолюдь несётся. Мастер взял трубку и услышал мягкий девичий голос:

— Алло, здравствуйте, меня зовут Аня. Вы можете уделить мне две минуты? Спасибо. У меня есть очень старая энциклопедия, Брокгауз и Ефрон, пролежавшая в сарае двадцать лет. Отсырела, помялась, сами представляете. Мне рекомендовали вас в качестве...

— Кто рекомендовал? — грубовато спросил мастер, не желавший видеть никакого Брокгауза.

— В музее... — пролепетала девушка. — Я не туда попала? Извините, пожалуйста.

— Да не волнуйтесь, я для проформы, — убавил мастер, не решаясь спросить, в каком музее; знали-то его многие. — Я сейчас довольно занят, но позже...

— А можно я завтра к вам заскочу на минутку, просто покажу и уйду, а вы мне только скажете, в каком она состоянии, ладно?

— Ну... завтра... я...

Мастер нечаянно забыл, сколько томов у Брокгауза, вылетело напрочь, он и не подумал, а может ли девушка *заскочить* с этой махиной. Отказываться тоже странно, ведь из музея рекомендовали: репутация. Ладно.

— В три часа, — сказал он машинально. Вертелось на языке и — вырвалось.

Девушка поблагодарила и попрощалась.

В три? Он схватился за голову. Он сам и ляпнул — в три?! Кретин! Но не перезванивать же браткам. Они простолюди чисто конкретные, берегут своё время. Если

они откажутся, других не найти, некогда и опасно. Но в три часа завтра сюда нельзя нести Брокгауза!

А может, попробовать всё-таки перезвонить профессору? Так, для проформы. Словечко нравилось. Переложить на четыре часа. На пять. Нет, четыре. Девица с Брокгаузом уже точно свалит. Неудачная мысль, конечно, поскольку всё равно ребятам график менять, но колючий ужас, что сам, будто в туманном наркозе, он только что велел незнакомке явиться в три часа, сковал его сообразительность, будто цементом.

В доме Кутузовых отозвался Васька. Нет, Андрея Евгеньевича нет дома. Неизвестно. А супруга? А вы ещё не знаете? Да, вот именно в такие годы. Видно, так. *На смерть, что на солнце, во все глаза не глянешь,* — шепнула бабушка.

Мастеру вконец поплохело. Кутузов, ишь, успел овдоветь и всё-таки завтра идёт за книгой. Сильно, видать, надо. И бабки налом. Серо-зелёный пришёл, когда жена отчудила. Невмоготу ему без этой книги.

...Да что ж это!

Блистательный план отъёма чужой собственности с последующей эвакуацией сокровища в глухую деревню начал угрожающе потрескивать. Интуиция подсказывала: брось. Даже покрикивала. Но послушаться её мастер не мог. Невозможно. Проскок от невинного шантажа к адскому жару страсти — свершилось. Расстаться с возлюбленной Книгой — хуже вдовства, как отрезать половину тела, вдоль или поперёк, и пригласить оставшуюся часть пожить вот так.

Жить наполовину реставратор и раньше не желал и, казалось ему, жил полно, во всю мочь, но только теперь он с отчаянием понял, что не жил вовсе. Заснув на родине, проснуться на чужбине, а языка не знаешь, паспорта нет, и назад трамвай не пойдёт, а птички за больничным окном поют, как везде и всегда, прекрасно.

Глава 46

Зверя травят не собаками, выездом. Конь бежит, земля дрожит, из ноздрей полымя валит. Он дал кувырколлегию

Мы с Василием сидели в гулкой, осиротелой квартире Кутузовых и перебирали подробности: сенсационные телепередачи на кабельном; звонок неизвестного, который не знал о вдовстве Кутузова; очевидность Ани в отсутствие возможности узнать её адрес и телефон; приближение сессии в университете; тоска сына по блудному отцу и возросшее стремление спасти его; новый взгляд на Дарвина, обретённый Васькой. И ещё по мелочам.

Искать немедленно: Васька извёлся, был на грани, даже вспомнил о милиции, чуть не позвонил туда. Не позвонил.

Схватилась за соломинку:

— А ты, кстати, почему не спросил у дядечки, кто он? Все ваши знакомые знают о вашей беде... с мамой. Друзей у отца мало...

— Друзей у отца не мало. Их нет.

— Тем более давай порассуждаем, кто мог звонить и зачем.

— Давай. Начни ты, пожалуйста.

— Мог позвонить кто-то, кому твой папа зачем-то нужен, — великолепно сообразила я.

— По-моему, блестящее начало, ты не находишь?

— Нахожу, — согласилась я. — Кому он нужен?

— Ну-у-у... это ты брось. Не так всё плохо. Мировая общественность, например, в области филологии...

— Общественность позвонить не может. Звонить — привилегия отдельных представителей. Вспоминай: симпозиумы, конференции, прочее, — его где-нибудь сейчас ждут? Почту разбираешь? Компьютер проверяешь?

— Да. Да. Нет. Да.

— Шутник. Хорошо, когда дети знают историю своей родины. Молодец. Значит, тебе позвонил кто-то *не* научный. У отца есть что-нибудь вроде записной книжки? На обоях записывает? Он как фиксирует людей?

— Пошли посмотрим. — Васька позвал меня в кабинет, и по дороге я разглядела: обои в реперных точках — нетронутые.

На обоях Кутузов не пишет. А кстати, жаль.

Кабинет был как-то замечательно, звеняще пуст. Похоже, дубовый шкаф, оставшийся без внутренностей, всё давал и давал эхо, моля о полноте бытия.

— Без церемоний, — заявил Васька. — Ищем вместе. Обыск. Методом тыка. Всё мало-мальски пригодное для дальнейшего расследования складываем на стол. И не беспокойся, что найдёшь интимное. Не найдёшь. Роемся везде!

— Вась, а мозговой штурм перед стартом? В родительской спальне могут быть какие-нибудь бумажки, книжки, то есть мы только в кабинете будем искать? Или всё-таки — тотально?

Васька нахмурился. Родительская спальная жизнь. Он и в детстве не задумывался, как там и что там, за дверью. Данность. На двуспальной кровати уже не было покровов, унесено жизнью. Мебель. Пустыня. Горшечные растения, дружно засохшие вскоре после

разворота, Васька выбросил, спальня до дна обезжизнела, и заходить туда не решался.

— Тотально, — постановил он. — И со спальни надо начать. Заначковых местечек там по минимуму.

Мы пошли в спальню, потоптались на пороге. Васька шагнул, ещё постоял, шагнул увереннее, распахнул портьеры, открыл окна, впустил городские мотивы. Посветлело, посвежело.

Я подошла к огромной кровати, просунула руку между матрацем и рамой и вытащила маленькую записную книжку. На первой обложке был вытиснен серебристый крестик.

— Ну и ну, — сказал Васька. — Я же... Не может быть.

— Вот и все чудеса. Листаем?

К нашей радости, Кутузов не шифровал записи. Наоборот, каждый телефон сопровождался указаниями, нередко адресами, ценами, — всё коллекционерское социальное богатство было сосредоточено здесь. И хозяин не взял её при побеге! Значит, покончил с темой? Всё собрано? Всё ясно? Васька немотствовал, осмысляя находку. Завалиться за матрац она не могла, очень плотно подогнаны части. Значит, она там жила . Близко к сердцу. По другую руку от жены.

— Может, он впопыхах забыл её?

— У него хорошая память, лучшая на свете, — процедил Васька. — Перейдём в кабинет, ладно?

Вернулись в кабинет. Сели. На букве «Р» нашли телефон переплётчика-реставратора со свистящим именем Сим Симыч. Подчёркнуто красным карандашом, и линия намного свежее, чем запись номера.

— Интересно, а по паспорту? — удивился Васька. — Симеон? Серафим?

— Семафор. Покумекаем, каков он по совести. Скажет нам, когда у него бывал искомый посетитель? Как будем раскрываться?

— Знаешь, ты у нас великий журналист. И голос у тебя, как известно, ангельский. Вот и давай. Звони ты, ладно?

— Мне представиться другом семьи? Нет, глупо, извини. Кстати, с неизвестным разговаривал именно ты. Голос известен только тебе. Может быть, у вас есть параллельный аппарат?

— Точно! Я буду слушать, а ты говори. Если я позвоню, да ещё как сын, это будет очень странно. Мы же с ним вроде бы намедни говорили, но и как бы не с ним. Ты скажи, тебе переплести что-то редкое надо! И тебе его рекомендовали. От Кутузова! Давай?

— Кофе — ради вдохновения — у тебя есть? — неосторожно спросила я, и Васька так зыркнул, что вдохновение само пришло. Без кофе.

Мастер переплётно-реставрационного дела Сим Симыч оказался дома, но, как ни напрягался, не припомнил клиента под такой фамилией. Он даже пошутил, что известные ему Кутузовы давно заняли почётные места в учебниках истории.

— Впрочем, если у вас что-то интересное, пожалуй, через месяц я вернусь, вы можете позвонить ещё раз, — исключительно вежливо предложил мастер.

— Мне нужно довольно срочно, — возразила я. — А в каком районе вы живёте?

Невинный вопрос неожиданно заледенил голос моего собеседника:

— Вот позвоните — я и скажу. До свидания.

Провокация, можно сказать, удалась, поскольку, задавая вопрос о районе, я смотрела прямо на его адрес, вписанный в книжку более свежими чернилами, чем телефон.

Влетел Васька, подслушивавший с кухни:

— Это он! Точно. Характерный скрипучий. И перепады те же. То вежливый, то вдруг будто с подначкой, с подозрением... Ну скажи: зачем бойцу столь мирного фронта, как реставрация и переплёт, быть загадочным и нервным?

— ...и вранливым, заметь. Нота бене: он отказался признать очевидное. Слушай, Вась, а давай покрутимся около его дома? Так, погуляем наобум. Голос подсказывает — нечисто дело. У него, родимого, папенькина драгоценность, у него!

— Я тоже так думаю. Ну почему батянька не вложил в адресную книжечку фотографии!..

— Зачем?

— Ну, чтоб узнать, если вдруг, этого хмыря на улице...

— Вась, а Вась, ты помнишь, где я работаю?

— Ой, правда, ты же по голосам лица угадываешь! Солнышко ты наше! — возопил Васька.

— Ну вот, будет хоть раз в жизни польза от моей многовековой журналистики! — обрадовалась я.

Васька тоже заулыбался, зашевелился. Появилась, появилась надежда. Погибнет загадка, и мы освободимся ради рутины, а трагедии пойдут себе прочь, и пусть. Хватит.

И мы поехали на «Кропоткинскую» — гулять наобум вокруг переплётчикова дома . Подбадривая Ваську, я рассказывала ему биографию мастера, привычки, семейное положение, описывала внешность — и особенно цвет бровей: коронный номер. Обычно мой аттракцион не лучшим образом действует на потребителя, вызывая сомнения,

дискомфорт и прямую агрессию, но Васька сегодня был исключительно благодарный слушатель и ни разу не издал типичное для этих случаев «Ну-у-у-у!..».

Глава 47

Пыль столбом, дым коромыслом, — не то от таски, не то от пляски! Расходился да размайорился, что и не приступишься. Голос соловьиный, да рыло свиное. Лес по дереву не плачет

Кутузов начал волноваться. По городу шли свободно, без пробок, будто им персонально дали зелёную дорогу. Кутузов часто поглядывал по сторонам и, как назло, всё упирался в раскрашенную кошками машину. Наконец не выдержал:

— Ань, ну что этот зверинец вокруг нас вертится?

— А... ну, это, наверное, сопровождение.

— Очень своевременная шутка, — фыркнул он.

— Никаких шуток. В этой машине мои конюхи с библиографом.

— Что?!

— Да, милый друг. Беседовать с твоим шантажистом будем дружно, всем коллективом заинтересованных сторон.

— Ну и ну. Почему же ты мне не сказала?

— Ты хотел заработать свои три тысячи. И ты всё сделал сам. Молодец. А они — малюсенькая подстраховка. Мы не хотели тебе помешать ни в чём. Библиографу, кстати, с самого начала показалось, что в коллекции чего-то не хватает. Он даже сказал — «кого -то». Он очень хочет спасти твою царь-книгу.

— Интересно, как это ему показалось?

— Очень просто. Когда он складывал свою... твою пирамиду, он пережил озарение. Так и сказал мне наутро. И добавил про *нехватку мраморной плиты*. Понятия не имею, какие озарения бывают у строителей пирамид, никогда не строила, но факт остаётся фактом!

Аня повернула к центру. Кошачье сопровождение послушно пристроилось в пяти метрах позади.

— И что, сейчас он добровольно...

— Абсолютно добровольно! Сказал, что, спасая книгу, мы спасаем человечество.

— Оно, конечно, так, но всё-таки это моё дело.

— Тварь ты неблагодарная, — ласково заметила ему Аня. — Оно уже не только твоё дело. Люди уж извелись, глядя на твои страдания. Можно подумать, у них своих дел

нет. У конюха Ивана дочка позавчера родилась. У конюха Петра мать сегодня юбилей празднует, а они мчатся за нами, потому что библиограф им всё рассказал.

— Ань, а как мы убедим их молчать? Ведь книгу-то я действительно купил на птичьем рынке. А она оказалась краденая из музея, и мой стервец информацию выставил вместе со счётом за услуги. Ты же всё понимаешь, детка. Мы в ловушке.

— Давай сначала выручим её, а потом сами решим, как жить, ладно? — ещё ласковее предложила она. — Всех сластей не переешь, всего добра не переносишь.

— Ишь ты... — успокоился Кутузов, так и не привыкший к режиму работы мозга индиго.

Притормозили у «Кропоткинской». Заперев машину, Аня повернулась к Храму Христа Спасителя и медленно, с чувством перекрестилась. Кутузов покачал головой. К этому он тоже не смог привыкнуть, а единственное воспоминание, когда он сам осенил себя крестным знамением, в телестудии, до сих пор обжигало руку.

«Кошкин дом» тоже притормозил. Вышли конюхи с библиографом, и Кутузову с трудом удалось не расхохотаться. Иван и Пётр были гренадерского роста, с пудовыми кулаками, шикарные дядьки, в одинаковых джинсовых костюмах. Старичок библиограф — одуванчик на верёвочных ножках. Седенькие волосики колыхались, будто прощались. Взор учёного горел, однако, нешуточной решимостью. И он тоже был в джинсовом костюме.

— Униформа? — повернулся к Ане Кутузов и обомлел. В руках она действительно держала том из энциклопедии Брокгауза. — Зачем это?

— Я же с ним договорилась на три часа. Зайти-де на минутку. Ты разве забыл, что я его озадачила?

— Но это же так просто, для проверки! Анечка, не ходи к нему!

— Не волнуйся, у нас всё расчерчено. Пошли, ребята! — крикнула она сопровождению. — А ты с библиографом — чуть поодаль, по нашим стопам. У тебя назначено «около трёх». А «около» может быть с двух сторон.

Кутузова, конечно, пекло нетерпение. Слишком громадна утрата. И сколько сделано для этого визита! Но позволить хрупкой девочке пойти даже на минимальный риск ради... И тут он задумался: ради чего?

Как пелена упала. Впервые в жизни Кутузова облило жаром нестерпимого стыда. За возню, суету, лихорадку... По цельнолитой конструкции его природы пробежала малюсенькая трещинка, будто робкая первая молния грозы; в эгоистическом панцире треснуло, подвинулось, — пробил озноб, на глаза наплыла горячая вода. Кутузов приостановился, продышался.

Тем временем Аня с гренадерами уже двинулась к подъезду. Шустрый библиограф подскочил к остолбеневшему библиоману и, крепко подхватив его за локоть, подправил — вперёд.

Мы с Васькой шли по Кропоткинской, поглядывая на таблички с номерами. Нашли, осмотрелись, и — Васька увидел эту парочку: старичок одуванчик под локоть препровождает Кутузова со смазанным лицом, — вид перекроено-окуренный, как из параллельного мира выпал.

— Это папа... — толкнул меня Васька. — Я читал, что пугать лунатиков нельзя.

Я всмотрелась, экстерном изучая персонаж, перевернувший мою жизнь. Увидела: он переможется. Минутное раздумье на челе, будто переворачивается какая-то важная страница. Перевернулась. Аминь.

Кутузов аккуратно выпростал свой локоть и шагнул к парадному. Ваську не заметил.

— Что будем делать? — прошептала я.

Васька в недоумении глянул в сторону Храма Христа Спасителя, перекрестился, успокоился и направился к подъезду. Но ему идти было в десять раз дальше: Кутузов уже вошёл. Старичок одуванчик остался на улице. Прошла минута.

И тогда раздался крик. От асфальта, шурша, поднялись в облака голуби.

Мы с Васькой рванули, пулей долетели до подъезда, но старичок одуванчик преградил нам путь. Крик в подъезде повторился.

— Туда нельзя, — строго сказал старичок.

— Там мой отец! — воскликнул Васька.

— А где ты раньше был? — резонно заметил одуванчик. — Ладно, стой рядом. Сейчас узнаю.

Одуванчик выхватил из джинсов мобильничек и быстро спросил у кого-то:

— Сына пускать? — и послушал комментарии. — Не велено. Ждите тут.

— Да что это такое! — Васька не согласился с вердиктом. — Пожалуйста, отойдите в сторонку, я должен туда войти. Не могу же я вас толкать!

— Не можете, молодой человек, никак нет. Через пять минут всё будет кончено. И вы пойдёте куда захотите.

— Кончено?

Я стояла поблизости, рассматривая достопримечательности архитектуры. Надо сказать, ни одна моя нервная клетка не дёрнулась, пока Васька со старичком препирались , а из подъезда вылетали нечеловеческие вопли. Наоборот, я успокоилась. Бушевание страстей меня мобилизует. А тут и ясность приближается. Устаканится, и все получат

своё. Реставратор — неудачник. Непобедитель, он часто врал и боялся. Обертоны скрежещут, а голосок слабый, отчего ныряет вниз-вверх, — он не может выиграть.

Васька заметил мою уверенность в торжестве справедливости, обиделся, но сразу простил. Наверное, ему хотелось догнать сюжет до яркой расправы со злодеями, но кульминация выстрелила, и нам вот-вот вынесут из подъезда всю сценографию.

Проскрипели долгие секунды. Из подъезда бодро вышли: Иван с опечаленным бандитом, Пётр с обалделым бандитом, Аня с почерневшим реставратором, Кутузов с рюкзаком.

Братки, неприметно и крепко скрученные, тихо матерились и беспомощно болтались в железных клещах: конюхи были безмятежны. Аня отвела реставратора на противоположную сторону улицы, шепча ему на ухо, и показала пальчиком на его собственные окна. Спросила. Он кивнул. Ещё три раза кивнул. Аня посмотрела на старичка библиографа, тот подбежал, взял реставратора за локоть, как давеча Кутузова, и повёл обратно в подъезд. Кутузов, прижимая к сердцу рюкзак, светло смотрел в небо.

Васька приблизился к отцу. Кутузов посмотрел на сына и вздохнул:

— Кончилось...

— Ты вернёшься домой?

— Нет. Пока нет.

— Почему? — без интереса спросил Васька.

— Я женюсь.

— Совет да любовь. А она уже знает?

— Может, догадывается.

— Познакомь?

— Вы же знакомы... — Старший нёс это, поглаживая твёрдые углы рюкзака.

— Может, сначала сессию примешь? Ты же всё-таки на работе.

— Сынок, тебе нужны деньги? У меня есть три тысячи.

— Рублей?

— Нет. Простых российских евро.

— Смешно. Нет, не надо. Передай их невесте. Она заслужила.

Аня дала указания конюхам, и бандиты как сквозь асфальт провалились.

Я смотрела весь этот фарс и вспоминала визит госпожи Кутузовой в редакцию радио «Патриот». Провидеть ей тогда, как оно развернётся, — носа б из дома не высовывала, грамоту бы русскую забыла, на старых подушках спала бы всю жизнь, которая могла быть очень долгой...

Глава 48

Тонко запряла, да толсто вытянула. Где не было начала, не будет и конца. Упал-то больно, да встал здорово. Не дочитав сказки, не кидай указки! Это присказка, а сказка будет впереди

— Куда мы сейчас? — спросил Кутузов, когда она завела мотор.

— За цветами, потом на кладбище. К твоей жене.

— Хорошо. — Он закрыл глаза. — А потом?

— В музей. Сдавать имущество государству.

— Как? — задохнулся он. — Ты не можешь так...

— Могу, — спокойно сказала она, трогаясь.

— Аня. Ты любишь меня? Аня!

— Вот потом и разберёмся. Вон цветочный киоск. У тебя рубли есть? — Она выключила мотор.

— Да у меня только рубли. Мне рублями заплатили. Сейчас, подожди... — Он тяжело выбрался из машины, прижимая к сердцу рюкзак.

В сердце кольнуло. Кутузов медленно повернулся, положил заветный рюкзак на сиденье, посмотрел на Аню, ощупал карманы, печально улыбнулся и пошёл. Аня закрыла дверцы, ещё раз взглянула на Храм Христа Спасителя и повернула ключ зажигания.

Кутузов проследил, как повернул за угол её хорошенький серебристый мерсик. Чуть поодаль развернулся «кошкин дом», и кавалькада ушла в неизвестность.

Васька попрощался со мной и пошёл за машиной. Через пятьдесят метров остановился, понаблюдал за сценой у цветочного киоска и пошёл навстречу Кутузову, растерянно топтавшемуся возле входа в метро «Кропоткинская» с огромным букетом белых роз.

Я поехала на работу. Провела эфир. Получила зарплату и написала заявление об уходе по собственному желанию.

Глава 49

Деньги на стол, да и ступай домой. Что в девках ни было, да теперь замужем. Долга эта песня. Плохо жить без забот, худо без доброго слова. Пошёл слонов продавать

Первые дни после увольнения мне было легко, радостно, раздольно! Напевала, пританцовывала. Не надо звонить согражданам, приглашая их в студию. Не надо следить

за часами, опасаясь опозданий в прямой эфир. Века железной дисциплины сделали из меня робота, заряженного на решение двух задач: вовремя построить график, вовремя отработать построенное. Хватит! Сколько можно? Не окупается! А главное — мне очень наскучило спрашивать. Оказывается, не так уж я любопытна, чтобы пятнадцать лет подряд интересоваться у солидных и чрезвычайно серьёзных людей, какого чёрта они занимаются именно тем, чем занимаются: поют, летают в космос, разносят почту, пишут стихи, воспитывают детей в школе и дома, руководят министерствами, предсказывают погоду, лечат, бьют рекорды, поклоны, друг друга... Пусть они сами, как хотят, хоть на голове стоят. Мне-то что?

Каждый день хотелось, прости Господи, поехать на кладбище к бывшей слушательнице радио «Патриот» Кутузовой, положить гвоздички, посидеть на лавочке и мысленно поблагодарить её за вмешательство в мою судьбу. Но я не знала, где она похоронена. Узнавать — звонить в дом. Звонить в дом — общаться. Общаться — так можно было и не уходить с работы.

Домашний телефон молчал. Мобильный я выключила. Жаркое лето, я простудилась и дурашливо радовалась: могу чихать сколько угодно, даже кашлять вволю ! Микрофон для меня — выключен. Всё. Я *не желаю* знать. У меня нет вопросов. Чихать !

Как-то утром открываю почтовый ящик в подъезде, выбрасываю ворохи рекламок и обнаруживаю толстый конверт. Распечатываю, подозревая политические уговоры: нам часто шлют приветы от партий, отчёты о проделанной работе, планы, — будто я в самом деле желаю знать об инициативах прогрессивного имярека.

В конверте уведомление. Мне дают премию как лучшему радиоведущему. Дата вручения. Господи!.. Поздравления от оргкомитета. Анкета для истории. А что я ничего уже не делаю и делать не собираюсь — это, видимо, несущественно. Спасибо.

Забегая вперёд, докладываю: вручение состоялось. Но если вы меня ещё хоть раз услышите в эфире какой-нибудь радиостанции, сделайте вид, что ничего этого, см. выше , вы не читали.

Глава 50

Хорошо смазал, хорошо и поехал. Мне бы с плеч долой, а с рук и сам стряхну. Битому псу только плеть покажи. Кого медведь драл, тот и пня боится. Хочешь есть калачи, так не сиди на печи!

Министр образования, так переполошивший народ 18 февраля 2006 года, забыл,

разумеется, о своём призыве к широкой дискуссии о внесении «религиозной составляющей» в учебники по биологии. Дискуссия, не будь дура, ушла в подполье, спряталась по головам.

Одна пятнадцатилетняя петербуржанка подала в суд на школу. Ей не понравилось, что происхождение человека там преподают по Дарвину. Девочка пыталась отстоять своё право быть творением Божьим. Но 21 февраля 2007 года Октябрьский суд Петербурга отстоял честь Дарвина и постановил, что человек произошёл от обезьяны, о чём народу России было сообщено по центральному каналу вечером того же дня. Ровно год пробежал — и всё прояснилось. Главное, у обезьян правового государства теперь имеется постановление суда. Наверное, мартышки ждут министерских приставов и лучезарных последствий, предсказанных Дарвином, на лестнице прогресса. Типа шерсть наконец оползёт...

...Незадолго до вышеупомянутого суда мои шебутные знакомцы вспомнили про меня и написали письма. Привожу в порядке поступления.

«Дорогая моя боевая подруга, — так обратился ко мне Вася Кутузов, бывший Магиандр. — Прости меня, недостойного, что долго был вне зоны доступа. Не мог привыкнуть к возобновлению жизни в относительно привычных формах: университет, работа, дом. Я ведь и работаю, как обещал тебе тогда. Никогда не догадаешься — где и кем. Но это потом. А сначала об отце.

Вчера мы с ним были в музее. Библия опять на родном месте, откуда была похищена семь лет назад. Смотритель зала сказал нам, что неизвестная золотоволосая привезла её летом, сделав поразительную находку в собственном сарае. К особе, вернувшей книгу в музей, ни у кого не было ни вопросов, ни претензий, поскольку в год исчезновения драгоценного издания девочка ходила в школу. Словом, Аня вырулила из этой ситуации с элегантностью и шиком.

Книга в превосходном состоянии, что подтвердили компетентные эксперты. Один даже сказал, что автору такой реставрационной работы надо ставить памятник. Увы, его слова приходится понимать буквально, поскольку мастер написал записку и свёл счёты с жизнью. Бывшая супруга вступила во владение квартирой на «Кропоткинской», продала оборудование мастерской, сделала евроремонт и вышла замуж. В пятьдесят пять лет! Велика сила евроремонта на «Кропоткинской».

Отец ходит в университет, а дома по вечерам читает романы, детективы, даже стихи начинающих авторов. Он руководит литературной студией! Словом, сейчас он

делает всё то, чего раньше никогда не делал. Дубовый шкаф он продал. Кабинет его преобразился! Имеются даже канарейки. Выглядит вполне довольным, и мы не вспоминаем прошлый год.

Он может запросто, из любопытства, впустую тратя время, некогда жутко драгоценное, общаться с посторонними людьми, со случайными знакомыми, способен погладить уличную кошку! Недавно вообще отколол: ходил на свадьбу к девице по имени Анжелика! За ним прислали кадиллак и с почётом увезли, привезли, а он искренне сомлел от барственного внимания к его скромной персоне.

Знаешь, однажды мы с ним шли по улице и вместе зашли в храм. Я думал, отец останется на улице, как бывало, но он вошёл со мной, и пока я ставил свечи, он ждал возле лавки, смотрел, что покупают прихожане, какие книги, сколько свечек и почём. Он так интересовался расписанием богослужений, я подумал было... Но нет. Вышли вместе, погуляли, поговорили о Гоголе, о духовной прозе. О том, что сейчас она невозможна в том виде, в котором её ждут современные православные верующие. Отец сказал, что напишет об этом статью и что он понял какую-то кардинальную ошибку всех писателей, пытающихся прикрепить свою веру к бумаге, будто она — картонка с картинкой, а перо — канцелярская кнопка.

Нам стало хорошо жить вдвоём. Он больше не называет меня чудовищем. Я без запинки говорю слово «папа», и у меня просто губы тают.

Были на кладбище, скоро ставим памятник и ограду, посадим дерево. Ещё не решили, какое именно. Ты не знаешь, какое лучше? Ну да это я так, извини.

Отец продал букинистам собрание сочинений Дарвина, выручку положил на сберкнижку. Никогда не имел он сберегательной книги! Завёл. Он забавный, человечный . Я не ожидал, что такое может произойти. Был сухарь и сноб — стал нормальный человек. Я даже подумываю: не найдётся ли ему подходящая подруга, с которой он сможет смотреть свои сериалы и читать детективы? Всё-таки он ещё ничего, не старый, что ж одному вековать? Ведь и я, возможно, когда-нибудь женюсь. Но — после армии.

Да, после университета я пойду в армию. Собственно, я всегда хотел, но вот пришлось на некоторое время отвлечься по семейным обстоятельствам. По этой части я сейчас и работаю — в тире для профессионалов. Учусь обращаться с оружием и людьми, хотя понимаю, что ни в какой войне такое оружие уже не пригодится, поскольку человечество, если соберётся воевать по-крупному, будет вести только подлые, кнопочные войны, подглядывая за противником с помощью мониторов. Но в армию я всё равно пойду. Чувство воина, в миру оно нигде, увы, не помещается.

Моя благодарность, Елена, невыразима. В те страшные дни, когда всё

перепуталось, ты дала мне дыхание прожить всё довольно-таки пристойно. Я никогда не забываю твой жуткий экскурс в существо СМИ, поэтому радио не слушаю, телевизор не смотрю, газет и журналов не читаю. Зачем? Всё равно доносится изо всех щелей. Даже в лесу. Мне кажется, сейчас любая сорока умеет пользоваться Интернетом. Она и принесёт , если что.

Будь удачлива и радостна. С Богом!

Всегда твой, искренне —

Василий Андреевич Кутузов».

Второе письмо пришло через неделю.

«Глубокоуважаемая Елена, здравствуйте.

Начну с извинений, поскольку они как застряли у меня в горле, так и царапают, неблагодарная я тварь. (Так охарактеризовала меня одна молодая особа, покровительству которой я, кажется, обязан до конца своих дней здоровьем и, вполне возможно, жизнью .)

Первое, за что я хочу просить у Вас прощения, это совершенно дурацкое, даже хамское (я отдаю себе отчёт в выражениях) послание гекзаметром, когда я просил у Вас адреса несчастных людей. Надеюсь, Вы за год забыли об этом, но если помните — забудьте, пожалуйста, и простите интеллигентствующего сноба и, повторю, хама, коим я тогда, бесспорно, был. Хамство гекзаметром, да уж. Изыск.

Второе, за что я прошу особого, великодушного прощения — это визит к Вам в редакцию моей жены, роковой визит, повлекший за собой череду событий, о которых мне и сейчас очень тяжело вспоминать, хотя в каждом ужасе, как я теперь узнал, есть и доля блаженства. Кстати, *блаженство* здесь я употребляю в обиходном, разговорном значении, без метафизики.

Третье, за что приношу извинения, смешанные с глубочайшей благодарностью, — Ваши отношения с моим сыном. В то время, когда я был угнетён умом и душой (проще сказать — почти скорбен умом), мальчик был одинок и, что уж там, брошен. Вы поддержали его, как ни был чужд Вам навязанный разворот, Вы помогли по-настоящему . Чего Вам это стоило, не берусь судить, учитывая, что эпистолы моей покойной супруги доставили Вам не только хлопоты. Не понимая Ваших мотивов, уважаю товарищество. Хотя в тот же период я близко познакомился с одной доброй девушкой, чьих мотивов тоже понять не смог. Много есть непонятного, как я узнал с огромной радостью. В любом случае, понимаю, не понимаю, — в любом, — *это* было прекрасной помощью, и

теперь мы во вполне благополучной жизни, в которой нет той тягости, обременённости ненужными вопросами и заколдованности ответами, когда их находишь не сам, а когда ползёт удав... но это я не могу Вам описать.

Теперь простите меня за то, что я вообще обращаюсь к Вам. В одном известнейшем музее сейчас хранится то, что я когда-то любил. Вы знаете, это Книга книг . Она была для меня всё. Преодолел. Я не хожу по той стороне улицы, где музей. Я не сплю больше на старых подушках, я купил новые. Мне больше ничего не надо!!! Я успокоился!!!

И послушайте: Вас наверняка позовут на какую-нибудь другую радиостанцию. Я знаю, что сейчас Вы не работаете. Не знаю почему. Отдых, наверное. Когда-нибудь Вам это надоест, как и мне — читать детективы, смотреть сериалы. Вам нужен весь мир, мне — тоже.

Когда Вас позовут, пожалуйста, выйдите в эфир и спросите у народонаселения: кто из вас Аня? Ладно? Спросите? И адрес! Адрес!!!

Прощайте и будьте здоровы,

Кутузов».

Понимаю, сказала я себе. Письма отца и сына были из разных миров. Опять холод проскочил по спине. Ничего не изменилось? Неужели ничего? Старший окончательно сошёл с ума, младший не заметил? Господи! Помоги мне, Господи... Я же ушла ото всего ! Мне эти слушатели больше не нужны, я не работаю на радио, которое они так фатально послушали... оставьте меня все.

И тогда пришло третье письмо, по электропочте.

«Здравствуйте, Елена.

Я — Аня. О Вас мне рассказал профессор Кутузов, когда гостил в моём доме. Описывая самое начало событий, повлекших столько переживаний, он упомянул радио и Вас, но позже я вспомнила, что и сама слышала Ваши передачи. На Вашем сайте я обнаружила этот адрес.

Разумеется, во всём виноват наш странноватый министр, вбросивший в сухой куст искры. Считаю, всякий министр обязан при поступлении на работу предъявлять справку о состоянии здоровья и диплом о высшем гуманитарном образовании. А то путать антиномии с антимониями — верх эксцентричности.

Понимаю, что при виде писем от слушателей Вы теперь вздрагиваете. Возможно,

надолго. Надеюсь, не навсегда. Я пишу к Вам как знакомая Кутузовых, а не как слушательница, поэтому Вы, надеюсь, извините меня и дочитаете письмо.

Андрей Евгеньевич пережил ужасающее, неистовое потрясение, хотя всячески скрывал его под маской сноба, ёрника, высокомерного гордеца с феноменальной памятью и другими редкими способностями. Он даже пытался переговорить меня цитатами! Так трогательно! Увы, безнадёжное дело: я запоминаю любой текст с одного прочтения, это врождённое, знаю много языков, работаю переводчиком. Ему со мной пришлось, наверное, нелегко, и я больше не беспокою его с того дня, как мы посетили переплётчика. Отец и сын Кутузовы обрели друг друга, — это достаточно счастливый результат.

Андрей Евгеньевич сердечно-болезненно пережил и в самом финале, когда мы пришли к мерзавцу, а в подъезде нас поджидали грабители. Я предвидела и грабителей, и даже похуже, поэтому взяла с собой Ивана и Петра, каждый из которых способен руками завалить взбесившуюся лошадь.

Насколько я понимаю, это Вы стояли тогда напротив дома, рядом с Васей, бледным и решительным. К сожалению, я не могла позволить ему вступить в игру в те минуты, — все роли были расписаны. Надеюсь, Вася меня простил.

Когда мы вошли в квартиру, мастер понял, что коварный план сорвался. И он закричал. Возможно, вопли разнеслись по соседним улицам. А когда мы показали ему связанных его приятелей и Андрей Евгеньевич сказал, что книгу отдать действительно придётся, он завопил ещё громче. Он просто стоял, согнувшись пополам, среди мастерской и кричал в голос. Мне даже стало жаль его: доставая книгу из сундука, он упал в сундук, ткнувшись носом в тряпки, вытирал сизые слёзы этими тряпками... Было страшно. Я глазами увидела: возможна безобразная любовь к предмету, вещи, — безжалостная страсть привязанности, разлагающая разум и разъедающая сердце.

Люди могут приклеиться к чему-то, — никогда не отвяжешься. Вам известны такие чувства? Ведь этот реставратор что-то своё вложил в ту книгу: клей, нитки, а с ними, случайно, — душу. Ограничился бы нитками.

Я смотрела на орущего реставратора и некстати думала: как же Богу больно с нами! Много нас, и все суетимся, а Ему и деваться некуда — Он же нас уже сотворил! Он нас *уже* любит! Ему не надо знакомиться, влюбляться, понимать, — Он сразу нас любит , когда пускает в жизнь. Представляю, какие надежды Он возлагает на нас и как Ему тяжко всякий раз разочаровываться.

Знаете, мне иногда очень жаль Бога. Я Ему искренне сочувствую.

Елена, извините, — отнимаю время, вынуждая читать эти всхлипы, но мне

больше некого попросить о помощи. Няня давно умерла, родители за границей. Есть партнёры по бизнесу. Есть огромный штат персонала. Друзей у меня быть не может, но не по спеси, а по ситуации: у нас, индиго, — будто коконы, прозрачные оболочки. Мы совершаем, к чему призваны, по чувству задачи, без колебаний, а дружба, в её привычном модусе, всё-таки предполагает обсуждение меж людьми пёстрых планов, эмоций, мешанины дел и других символов неопределённости.

Кстати, знаете судьбу пресловутой коллекции? Она была сложена в изумительно точную пирамиду моим библиотекарем. Ему-то Кутузов и подарил её на память. Вернув царское сокровище в музей, я позвонила Кутузову с докладом, он так и сказал: передай пирамиду во владение учёному её автору.

Обескураженный счастьем библиотекарь не хочет разбирать чудесную конструкцию, плод великого, понимаю, вдохновения, и стоит она, как на скале, на громадном столе, где спал в мешке Андрей Евгеньевич. Получилось, что его личное спальное место в зале моей библиотеки сохраняется ввиду эстетических порывов и мистических озарений библиотекаря. Забавно!

В полученном пирамидальном сочленении кутузовские книги символизируют покой, красоту и, если можно так выразиться, не принятую человеком истину. Удивительная история.

Как он обходится?.. Ведь у него дома теперь нет ни одной Библии! Хотя он знает её наизусть — книга есть книга, живая. На диване, в поезде, в самолёте. Впрочем, сейчас, когда ему поневоле приходится относиться к Библии серьёзно, на диван он её уже не возьмёт.

Он не звонит; полагает, я ежемесячно меняю мобильник? Не меняю. Украсть у меня телефон невозможно, и по работе мне звонят именно на этот номер. Может быть, сердится? Или просто выбросил нашу историю из головы. Хорошая память — это когда умеешь забывать. А память у него прекрасная.

Я рассказываю всё Вам, потому что когда мы отнимали заветную Библию у злодея , Вы оставались на улице с Васькой и, услышав жуткий вопль, могли подумать ужасное, что сильнейше огорчило бы меня и моих конюхов, которые не применяли насилия: это принципиально. Мы забрали книгу исключительно с помощью словесного действия. Шантажист огорчился неумеренно — сам.

Желаю Вам процветания и творческого долголетия. Простите за всё. Надеюсь, когда-нибудь мы с Вами познакомимся лично.

Искренне Ваша —

Анна Кутузова».

Увидев эту подпись, я наконец удивилась, но через минуту в почту разъяснительно влетела приписка с пометой *важно*: «Мы однофамильцы. Удивительное совпадение наших именований Кутузовым неизвестно, а я теперь и открыться не могу: ведь мы знакомы целый год, но Андрей Евгеньевич и не спросил мою фамилию. Напрашиваться с неожиданной подробностью мне неловко, и вряд ли он стал сентиментальным, но — вдруг он начал интересоваться другими людьми?.. Привыкнуть к новому состоянию душе помогают узнаваемые слова, близкие по звуку, а что земному человеку ближе имени!

Вы трудитесь в словесности; жизнь профессионального медиатора, понимаю вполне, есть служение; иногда против желания и сил медиатора.

Можно просить Вас о великом одолжении?..»

Москва, 2007 год